И. В. ГЕССЕН

ГОДЫ ИЗГНАНИЯ

И. В. Гессен

ГОДЫ ИЗГНАНИЯ

жизненный отчет

YMCA-PRESS

11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève, 75005 Paris

Обложка работы Arcady



Иосиф Владимирович Гессен
(14.04.1865 — 22.03.1943)

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В 1937 году в издании Стенфордского университета вышла книга воспоминаний Иосифа Владимировича Гессена "В двух веках". Автор — редактор "Права" и "Речи", депутат Государственной Думы, член ЦК Партии Народной Свободы (к.- д.), а после октябрьского переворота и гражданской войны — основатель и бессменный глава берлинского издательства "Слово", редактор "Руля", создатель "Архива Русской Революции".

Написана была книга частью в Берлине, частью же — в Париже, и охватывала период с семидесятых годов прошлого столетия до гражданской войны. А завершалась переходом финской границы, уходом за рубеж...

Эти годы были рубежом и для всей России — и той, над которой опускался "мрак советской ночи", и той, которой суждено было изведать проклятье беженства — эрзаца жизни без корней, без почвы, с вечным ощущением себя незванными гостями в чужом пиру, с вечной разорванностью между надеждой и отчаянием.

Не создано еще истории российского рассеяния — миллионов людей разных сословий, мировоззре-

ния, жизненного опыта — вырванных из привычной стихии, из обжитого отчего дома, что зовется родиной. В каллейдоскопе городов и стран, в случайности занятий, неприкаянности и неустойчивости беженского быта и бытия можно было противопоставить лишь одно — твердость и неизменность нравственных установок, и чем меньше оставалось надежд на изменения в России, тем сильней должна была быть вера в эти принципы. Без нее немудрено было в этом "сорванном с оси" мире терять ориентиры, путаться, отчаиваться... И все-таки...

И все-таки эмиграция жила, хранила, продолжала русскую культуру. За кажущейся хаотичностью, растерзанностью ее, за столкновениями и бесконечной полемикой, метаниями и падениями шла созидательная работа, совершалось осознание глубинных причин российской катастрофы, изживание соблазна, породившего ее...

Обо всем этом — о годах изгнания, поиска, труда — эта книга. Горькая, как горек беженский хлеб, но и очищающая, ибо ничто так не очищает, как исповедь перед совестью. Недаром в подзаголовке ее автор поставил слова: "Жизненный отчет". Гессен не разрушает мифов — эта работа, как и само мифотворчество, — удел следующих поколений. Он не историк, а современник, более того — деятельнейший участник описываемого. Отсюда страсть, гнев, боль, проступающие за внешне спокойным повествованием. Начиная книгу, И.В. спрашивал себя: "если эти страшные двадцать лет еще не оформились в прошлое ... если так трепетно пульсируют они в настоящем, то можно ли, разбираясь в них, сохранить спокойствие духа, смирить негодование, не захлебнуться ненавистью?.."

Может быть, именно эти "человеческие, слишком человеческие" чувства и делают книгу столь живой и актуальной. Читая ее, не можешь избавиться от ощущения, что она написана о сегодняшнем дне эмиграции. Ибо пока есть рассеяние, те же мучительные проблемы стоят перед ним, те же болезни и те же опасности...

Актуальна она еще и потому, что такой же процесс изживания коммунистического соблазна идет сегодня в России, и уже не в отдельных людях или группах, а в самой толще, в самом национальном сознании, которое, постепенно выздоравливая, обращается к истокам веры, традиций, исторической памяти. И то, что полстолетия назад делалось в эмиграции на основе одного лишь нравственного императива, без надежды услышать отклик с родины, — сегодня улавливается и впитывается этим пробуждающимся сознанием, помогает ему и дает надежду на преображение.

В.А.

ОТЪЕЗД ИЗ РОССИИ

Уезжая из Петербурга в январе 1919 года, я тщательно отобрал десяток-другой наиболее ярких номеров советских газет, по которым можно было составить себе довольно точное представление о новом режиме. Опасаясь, что пограничники их отберут, я завернул в газеты разные части багажа — так меньше бросалось в глаза. Но и это не помогло, газеты были отняты — однако не советскими чиновниками, а финляндскими представителями новоиспеченной контрразведки, окрещенной, по неисповедимому совпадению, столь знакомым нам названием "третьего отделения". Хотя, как они утверждали, фамилия моя им известна, но нет гарантии, что я не воспользуюсь газетами для большевистской пропаганды. Тут же преподнесли мне другой сюрприз: неделю надо провести в Териоках, в карантине, а для поездки в новую столицу — Гельсингфорс — требуется особое разрешение начальства. Правда, в Петербурге были заболевания сыпным тифом, но они не имели характера эпидемии, и карантин учрежден был не для профилактики (на чем, впрочем,

новые власти и не настаивали), а в качестве чистилища, в целях дополнительной проверки политической благонадежности.

Поначалу мне не хотелось сдаваться (позже я впал в другую крайность — резиньяции), да и к тому же военным министром Финляндии оказался скромный, почтительный Вальден, управляющий типографией "Слова", в которой лет двадцать печаталось "Право", а затем и "Речь". Теперь на посланную телеграмму он не ответил, а приехавши как раз в эти дни в Териоки в сопровождении адъютантов, не поинтересовался видеть меня. Вроде того, как угол падения равен углу отражения, нынешняя величественность должна была соответствовать прежнему уклону заискивания.

Сам по себе карантин не представлял ничего неприятного, напротив, убаюкивал разными уже забытыми утехами: для жилья отводилась какая-нибудь из многочисленных опустевших дач, принадлежащих петербуржцам, около которой заготовлены были дрова, и веселое горение их с потрескиванием в огромных печах ласкало глаз и слух. Еще больше прельщала белая булка, кофе с сахаром в неограниченном количестве и нетерпеливо ожидаемый днем судок, из которого вырывался ароматный пар. Нет, кажется, ни одного мемуариста, который не вспомнил бы — то со стыдом, то с самозабвенным восторгом — об ошеломляющем впечатлении, какое производил резкий переход от петербургского голодного рациона к нормальному режиму. Но все это было ничто в сравнении с головокружительным ощущением легкости, чисто детской беззаботности, с какой вечером укладывался в постель — совсем не просто было проникнуться уверенностью, что волшебная зимняя тишина не будет

грубо прорезана автомобильным гудком и мотором, и почувствовать под собой устойчивость, — вероятно, так чувствуют себя на войне вырвавшиеся из зоны артиллерийского обстрела.

Весть о моем приезде быстро просочилась за пределы карантина и, в нарушение его правил, вечером стали появляться гости. Очень удивил Н.И.Иорданский, когда-то поклонник, а со времени нелепого вызова драться с ним на дуэли — злобный враг. Теперь все было забыто: революция привела его в плехановскую организацию "Единство", собравшую разнородных отщепенцев от главных стволов социал-демократии, так называемых "социал-патриотов". Иорданский был комиссаром Временного Правительства при одной из действующих армий, и в карантине у нас восстановился не только общий язык, но и дружеская нежность. В дальнейшем, однако, он не выдержал беженского гнета и редактировал в Риге одну из многих газет, основанных большевиками за границей. "Руль" вел с ними острую полемику, немало, смею думать, способствовавшую быстрой их ликвидации, после чего Иорданский был взят в Москву и там вскоре скончался от какой-то болезни.

Другим, весьма шумным гостем, буквально ворвавшимся поздно вечером в огромной дохе и высоких валенках, был Леонид Андреев, живший на своей затейливо построенной большой даче, неподалеку от Териок. Он был награжден всеми дарами, чтобы стать очаровательным: тонко выточенное бледно-матовое лицо, доверчивые черные глаза с поволокой тихой грусти, проникновенный грудной голос счастливо сочетались с недюжинным художественным талантом, уже при первых литературных выступлениях обратившим на себя общее

внимание. Но быстро завоеванная слава и подкосила его, — он разрывал страсть в клочки и вырвал у Толстого обидные слова о своем творчестве: "он пугает, а мне не страшно".

Вышибленный революцией из колеи и пламенея ненавистью к большевикам, он считал себя призванным стать во главе мировой пропаганды против коммунизма, ждал миллионов из Америки, но по мере того, как несбыточные надежды все больше никли и душа опустошалась, — все настойчивее жаловался он на сердечное недомогание и усталость и через несколько месяцев внезапно скончался от паралича сердца.

Без нарушения правил, вызвав меня в управление карантина, тоже занимавшее одну из пустых дач, явился "богатый Гессен", проживавший на своей большой даче в Усикирка. Со скудным образованием и широкой натурой, болезненно склонный к дерзкому риску, он своими руками создал многомиллионное состояние, став (совместно с братом) владельцем крупных транспортных, страховых и банковского предприятий. Вместо прежней кипучей коммерческой деятельности теперь его увлекала "борьба с большевиками". Нетерпеливо отделавшись от шаблонных вопросов о здоровье и т.п. и вручив мне финские деньги, в обмен на оставленные его золовке в Петербурге рубли, двоюродный брат бойко вскочил на своего новенького конька и во весь опор понесся в рассказе об организации борьбы с большевиками.

— Мы образовали комитет, во главе которого стал Трепов (А.Ф., кратковременный премьер), но он быстро проявил свои монархические устремления, мы его свергли и выбрали Струве. Тот и месяца не просидел здесь, и как только появился

Карташев, — ну ты сам увидишь, что это за человек, — посадил его вместо себя, а сам сбежал в Париж. Но теперь уже не важно, раз ты приехал. Мы очень на тебя рассчитываем, вот и вопрос о газете, которая влачит жалкое существование, будет разрешен. Тем легче, что Юлию (старшему брату), работающему в Лондоне, обещаны большие деньги. Юлий молодец, подружился с баттенбергским принцем, дядей Георга, который обещал передать королю записку Юлия и поддержать ее. Вообще он сумел найти широкие связи. Пожалуйста, дай знать заранее, когда ты поедешь в Гельсингфорс. Ты остановишься на день в Выборге, мы устроим собрание некоторых членов наших и подробно поговорим и решим.

Приблизительно то же, хотя и не в столь возбужденном тоне, пришлось выслушать через день-другой за изысканным завтраком на роскошной даче другого видного петербургского банкира Шайкевича, приславшего за мной лошадей. Меня не спрашивали, что я думаю о событиях в России, предполагалось, что они и сами знают все, что нужно делать, но делать-то должен я. От этого неожиданного бурного оживления, после долгого обессиливающего бездействия, голова слегка кружилась и руки начинали чесаться, но уже в Выборге в небольшом зале (том самом, где летом 1906 года подписывалось "выборгское воззвание") зашевелился червячек сомнений. Было необычно шумно, совсем как на студенческих сходках, кроме уже названных, тут было еще несколько банкиров и промышленников — помню Грубе, Шуберского, Форостовского — все спешили, перебивая один другого, высказаться и блеснуть своими соображениями и чаяниями, а в ушах все громче звучало: "шумим, братцы, шу-

мим". Так, ничего не сформулировав, мы и разошлись, когда пришло время отправляться на вокзал, чтобы ехать в Гельсингфорс.

В сурово красивом, кокетливо чистом Гельсингфорсе, преобразовавшемся в столицу, стало тесновато: потребовались помещения для министерств, дипломатических представительств и иностранных миссий. Улицы, на которых русские обозначения были уже уничтожены, пестрели моряками со стоящих на рейде и постоянно сменявшихся военных кораблей. Как и в Сердоболе, беженцы облюбовали вновь, после пожара, отлично отстроенный Сосиэтетс-Хаузет и, начиная с генерала Юденича с ближайшей свитой, заполнили его, обогащая швейцара щедрыми чаевыми, чтобы заполучить комнату. Холл и ресторан гостиницы стали центром или — лучше сказать — кулуарами беженской политики. За завтраком и обедом формировалось несколько групп, в которых то журчала, то бурлила, с подозрительными, а то и с вызывающими взглядами по адресу соседей, неумолчная беседа, подхлестываемая "огненной водой", подававшейся ввиду "сухого режима" в чайниках или добываемой из хранившихся в задних карманах брюк плоских серебряных и золотых фляжек. Теперь уже не тяготились, как было в Сердоболе, деньгами и драгоценностями и не предлагали "зачерпнуть, если нужно, — в Петербурге сочтемся". Но отсюда не следует заключить, что уверенность в скором возвращении домой успела поколебаться. Напротив, она как будто еще больше окрепла, утратив лишь розовую окраску и приобретя деловой характер. Совершенно серьезно банкиры и промышленники от имени управляемых ими предприятий выставляли с непререкаемым убеждением в реальной значимости свои подписи на

векселях, выдаваемых иностранным банкам и учреждениям в обеспечение оказываемых миллионных кредитов на борьбу с большевиками.

Руководство этой борьбой доверено было "Национальным центром" (образовавшейся в Москве подпольной организацией) генералу Юденичу, который в холле и ресторане никогда не показывался и участия в оживленных беседах не принимал. Сиднем сидел он в небольшой узкой комнате, за столиком, абсолютно свободным от всякой клади. Да и вообще комнату можно было бы считать необитаемой, если бы не два тощих чемодана на табуретке у дверей. Юденич принадлежал к числу полководцев, выделившихся удачами в великой войне. В какой мере удачи были обусловлены военными дарованиями генерала, судить не могу.

Соперничество раздирало комитет. Хотя, казалось бы, тут делить было нечего, он разделился по признаку международной ориентации. Во главе соперничающих групп стояли, с одной стороны, бывший владелец "Треугольника" Утеман, с другой — мои двоюродные братья Гессены. С переменным успехом обе группы старались укрепить свое влияние и завладеть симпатиями Юденича. Когда группа Утемана, за круговой порукой членов своих, получила от финских банков заем в миллион марок, преподнесенный генералу, — другая поторопилась повторить этот жест, а через несколько месяцев почти все члены комитета разъехались из Финляндии, банки обратили взыскание по векселям на имение Б. Гессена и сам он лишен был временно свободы. "Год интервенции", день за днем излагающий события и регистрирующий щедро копившиеся слухи и сплетни, представляет яркую карти-

ну мелких интриг и взаимных подсиживаний, которыми кишела закулисная работа комитета. А на сцене деятельность выражалась в горячем обсуждении текста приветственных, убеждающих и просительных телеграмм Вильсону, Клемансо, Ллойд-Джорджу и другим вершителям мировых судеб.

Тяжелым бесформенным грузом висел комитет на плечах председателя А.В. Карташева, который меньше всего был приспособлен руководить этим беспорядочным сборищем. Члены комитета относились к нему свысока, пренебрежительно и злоречиво. Я знал А.В. в Петербурге как блестящего вдохновенного оратора с симпатичным лицом и лучезарными глазами. Посетив его тотчас по приезде в Гельсингфорс, я был встречен очень приветливо, точно и он только и ждал меня: "Мы надеемся на Вас, как на слона, и хотим взвалить на Вас всю работу". А когда впоследствии, тяготясь обстановкой, я заговаривал об отъезде, — он горячо убеждал не делать этого: ему, дескать, и самому очень тяжело, но он не считает возможным покинуть пост, на который он обречен. А фактически не только никакой работы на меня не взваливалось, но "слона"-то он и не замечал, совершенно забывая о моем существовании. Не могу, однако, объяснить это неискренностью, а приписываю растерянности, лучше сказать, растерзанности.

Я не могу согласиться с многочисленными мемуаристами, участниками гражданской войны на северо-западе, обвиняющими Карташева в неискренности. Сомневаюсь, чтобы вообще нашелся человек, который справился бы со стоявшими тогда задачами. Чрезвычайно ответственными были сношения от имени Юденича, ни одного иностранного языка не знавшего, с финскими и эстонскими властями и

с представителями "союзных миссий" (английской, американской, французской). Местные власти относились с болезненной ревностью к установлению престижа, а соблазнительнее всего было проявить его на русских, дать почувствовать, что они здесь больше не хозяева, а гости, и притом незваные. В этом направлении препятствием не служило не только прежнее демонстративно предупредительное отношение русской интеллигенции к угнетаемым окраинам, но даже и личные знакомства, приятельство, дружба. Вместе с тем, однако, эти власти весьма активно относились к белому движению, конечно — лишь с точки зрения своих интересов (интересов сегодняшнего дня), и, жадно используя распыленность эмиграции, необычайно дорожили любым клочком бумаги, содержавшим признание суверенности, как бы ни была низка его реальная и моральная ценность.

Не помню через кого, я получил приглашение к министру иностранных дел Энкелю, безукоризненно говорившему по-русски и подробно расспрашивавшему о положении в России. Он предложил посетить генерала Маннергейма и на другой день уведомил о назначенном мне приеме у "правителя государства". Бывший русский генерал, командир гвардейской части, высокий, породисто-изящный, барон Маннергейм, тоже свободно владевший русским языком, парализовал мое красноречие неотрывным рассматриванием своих ботфортов, блестящий вид коих доставлял ему, по-видимому, большое удовольствие. Впрочем, его не нужно было убеждать в необходимости помочь в борьбе с большевиками, — он сам мечтал о походе на Петербург, рисовавшемся ему приятной прогулкой.

К тому были и особые побуждения: на очереди стояли первые выборы президента республики, производящиеся, по конституции, всеобщей подачей голосов. Усмиритель — правда, с существенной помощью немцев — коммунистического восстания в Финляндии, Маннергейм пользовался большой популярностью, вполне обеспечивавшей ему избрание. Но он был шведского происхождения, и политические руководители, обуянные ударившим им в голову национализмом, противопоставили кандидатуру проф. Стольберга, редактора влиятельной газеты, а чтобы добиться успеха, не остановились перед изменением конституции, отнеся избрание главы государства к компетенции сейма. Один из ближайших сотрудников этой газеты Карманнен, прежде ее петербургский корреспондент, постоянный гость в "Речи" — отсюда наши приятельские отношения — признавался:

— Если бы я должен был голосовать, то при всем уважении к Стольбергу подал бы голос за Маннергейма. Как же иначе, если ему мы обязаны своим существованием. Ведь нет дома у нас, в котором не красовался бы на видном месте его портрет. А все-таки президентом должен быть финн.

Он был доволен, что изменение параграфа конституции освободило его от соблазна, и в голову ему не приходило, что недоверие записных рыцарей демократии к ее символу — воле народа — расчищает пути к авторитарному режиму. Своеобразное влияние на русские дела оказала борьба против кандидатуры Маннергейма. Его противники, опасаясь всего, что могло бы увеличить популярность барона, тем самым становились противниками "похода на Петербург".

Уже недели через две по приезде в Гельсингфорс я был вызван в Копенгаген дирекцией пулеметного завода, учредившего в России, совместно с русскими участниками, акционерное общество для постройки такого же завода в Коврове. В качестве юрисконсульта правления этого общества, я и был теперь приглашен для доклада о положении на строительстве завода. Путешествие за границу происходило в условиях, заставлявших проливать слезу о "добром старом времени", и притом мое паспортное положение было не совсем устойчиво: для выезда из России в Финляндию, суверенность коей не была еще формально признана, советская власть выдала особый, отнятый на границе, "пропуск", на руках осталась — вот она и сейчас предо мной — "паспортная книжка, бессрочная, выдана приставом первого участка казанской части С.П.Б. Столичной полиции 1911 года, апреля месяца 26-го дня надворному советнику И.В.Г. № 132. Цена книжки 15 коп.". Но книжка по закону годилась только для проживания внутри России и обменивалась при выезде на заграничный паспорт.

Как же быть? Немало красноречия пришлось потратить, чтобы убедить датское консульство поставить визу — по полученному дирекцией разрешению на въезд в Данию — на этот паспорт. Теперь оставалось заполнить, если не ошибаюсь, пять экземпляров анкеты, интересовавшейся не только мною, но и родителями и девичьей фамилией жены моей и матери, — и приложить пять фотографических снимков. Такую процедуру надо было повторить в шведском консульстве, так как дорога лежала через Швецию, но начинать нужно было с тех же манипуляций в Финском министерстве иностранных дел, ибо только при его разрешении вернуться

в Финляндию иностранные консульства выставляли визу. А потом... Фактическая проверка на границах: томительное ожидание очереди перед турникетом таможенных и полицейских чиновников, грубые окрики, испытующие взгляды, многозначительное покачивание головой при недоверчивом сопоставлении паспортной фотографии с оригиналом, — все это производило столь внушительное впечатление, что можно было усомниться в себе самом: черт возьми, а быть может, я и в самом деле агент большевиков!

В первый раз я благополучно прошел через все испытания, но несколько месяцев спустя, когда уже в четвертый или пятый раз был вызван в Копенгаген, шведское консульство неожиданно отказало в разрешении проехать через Стокгольм, потому что, как впоследствии выяснилось, получило от своей контрразведки сведения о близости моей к советской власти. И подумать только, что через два-три года посланцы Москвы, против которых стеснительные меры были задуманы, встречались на границах как желанные гости, а стеснительные меры, которые должны были мешать их просачиванию, всей тяжестью легли на беженцев.

В Стокгольме мне показалось, что из глухой провинции я попал в столицу — настолько здесь было шумнее и размашистее. Пригласивший меня к завтраку петербургский банкир, на дочери которого был женат мой приятель, занимал роскошную квартиру в одном из красивейших домов Стокгольма, и я так был смущен великолепной, покрытой толстым ковром лестницей, что не решился ступить на нее в дырявых калошах, украдкой снял их за колонной и там и оставил.

Ни в какое сравнение не шел чистенький Сосие-

тетс-Хаузет с величественным Гранд Отелем, в огромном ресторане которого так и кипело людьми и стоял гул. В один из позднейших проездов я переночевал, по приглашению "богатого Гессена", в его номере-аппартаменте, том самом, в котором во время войны встретились Протопопов с Варбургом и за который мой родственник платил по сто крон в сутки. А теперь эти аппартаменты занимал представитель Красного Креста Чаманский с подругой, угостивший нас изысканнейшим обедом с обильным возлиянием шампанского — через несколько лет, дойдя до крайней степени нищеты, он вместе с подругой покончил жизнь самоубийством. Здесь же проживал известный журналист, корреспондент "Русского Слова", от которого газетчики узнали о моем приезде и буквально набросились на меня: вырвавшийся из России представлялся тогда монстром, и для вящей убедительности в его реальности напечатанные в газетах интервью документировались тут же снятыми фотографиями. А я в увлечении рассказом сболтнул, что пропуск в Финляндию получил за взятку, о чем один из интервьюеров, вопреки обещанию, разгласил, вследствие чего все неиспользованные пропуска были аннулированы, а чиновник-взяточник, до революции бывший агентом по сбору газетных объявлений, расстрелян.

Отрадным моментом в Стокгольме была встреча с бывшим посланником нашим К.Н.Гулькевичем, которого я знал в Петербурге директором департамента министерства иностранных дел. Его благородная скромность, строгая корректность и чарующая благожелательность не были принадлежностью дипломатического обличья, а служили

проявлением прекрасной души и свидетельством лучших дворянских традиций, сделавших из него честного демократа. Теперь его официальное положение было неопределенным: хотя он уже не мог считаться представителем русской государственной власти, но победа революции еще не расценивалась как окончательная, а потому Гулькевич продолжал занимать посольскую квартиру с привилегией экстерриториальности, со штабом чиновников, ливрейными лакеями. К этому времени и советская власть имела уже своего представителя в лице потом убитого в Женеве Воровского, который тоже не пользовался всеми правами и преимуществами дипломатического представителя, а потом был даже выслан из Швеции.

В числе состоявших при миссии был, между прочим, бывший профессор Политехнического института, выдающийся ученый А.А.Чупров. Его отца, профессора политической экономии, московскую либеральную знаменитость, тесно связанную с "Русскими Ведомостями",* я хорошо знал, но только по многочисленным рассказам и анекдотам, в которых неизменно самой яркой чертой выступала радушная общительность. Сын же был погружен в дебри математической статистики, в которой он считался европейским авторитетом. Для миссии Чупров занимался составлением финансово-экономических бюллетеней о международном положении и, на основании внимательного изучения, сам превратил небольшое, от отца унасле-

---

* До революции 1917 г. самая либеральная московская газета.

дованное состояние в дешевые германские марки, которые затем совершенно обесценились.

После ликвидации императорской миссии Чупров переехал в Дрезден, где окончательно ушел в науку и отрешался от нелюдимости только ради Гулькевича, с которым все больше сближался. Вместе с ним он переселился потом в Швейцарию, когда Нансен взял Гулькевича помощником по делам русских беженцев. На руках у него Чупров, с виду всегда пышущий здоровьем, преждевременно скончался от коварной, долго не распознанной сердечной болезни. Еще двумя годами позже угас от застарелого туберкулеза и Гулькевич.

В Стокгольме он настоял на встрече моей с популярным лидером социал-демократии Брантингом, с которым был в добрых отношениях, и большое удовольствие доставила мне двухчасовая беседа с ним; вдумчивое выражение правильного лица с красиво седеющим бобриком, грозно насупленными густыми бровями и мягкими черными глазами внушало симпатию и доверие, и так и хотелось сказать ему: напрасно, и под строгой маской тебе не скрыть отзывчивого великодушного сердца. Плохо справляясь с французским языком, на котором велась беседа, я тем больше волновался и слишком горячо доказывал, что именно социал-демократам, вчера еще однопартийцам большевиков, следует от них оградиться высокой стеной, чтобы не подпасть вместе с ними ответственности за их гибельную политику. Брантинг не возражал, но все допытывался фактического материала, и уже много позже я понял, что излишняя страстность не могла не возбуждать подозрений в пристрастии.

Выехав ночью из Стокгольма, ранним утром, еще в полутьме, я был в Мальме, и здесь, под мел-

ким пронизывающим дождиком, таможенный и паспортный контроль производился с такой упрямой медлительностью и вызывающим тщанием, точно ищейкам доподлинно было известно, что среди нас скрывается опасный преступник. Но зато, когда совершенно измученному нелепыми и бесцельными строгостями, голодному путешественнику удавалось ступить на пароход, глазам открывалось ошеломительное зрелище. Зал кают-компании был перегружен снедью в таком подавляющем количестве и дразнящем разнообразии, что невольно вспоминая петербургскую голодуху, становилось неловко. Но это пароходное зрелище было лишь преддверием к культу чревоугодия, одолевшему датскую столицу, которая утратила свое приветливое национальное лицо. Куда ни взглянешь — всюду иностранцы, представители Антанты, чувствовавшие себя полновластными хозяевами. Роль стокгольмского Гранд-отеля здесь выполнял отель д'Англетер, швейцар и метрдотель были еще более неприступны, и требовалась изворотливость не только чтобы получить комнату, но даже столик за завтраком, обстановка которого похожа была на столпотворение. Было, во всяком случае, смешение языцех (не слышно было только немецкой речи, на которую наложили табу), все говорили уверенно, во весь голос, и нестерпимый гул то и дело покрывался рокочущим басом видного петербургского адвоката Н.П.Корабчевского. В промежутках между сервируемыми яствами в узких проходах среди столиков под оглушительный джаз-банд происходили танцы, которые мне, воспитанному (больше, впрочем, литературно) на вальсе, мазурке и т.п., представлялись похоронным обрядом.

По существу Копенгаген ничего нового не давал.

Я бы составил такую пропорцию: Копенгаген так относится к Стокгольму, как Стокгольм к Гельсингфорсу. Здесь только размеры были внушительнее, размах много шире. Там мной заинтересовались три-четыре газетных сотрудника, здесь одних корреспондентов прежних русских газет была добрая дюжина. Одни издавали маленький листок. Другие помогали не знающим русского языка корреспондентам крупных европейских газет, третьи умудрились установить с ними непосредственную связь и потому усерднейше выжимали сведения об отгородившейся непроницаемой стеной России. Из "сильных мира сего" я в Стокгольме ораторствовал перед полуповергнутым уже посланником Гулькевичем и депутатом Брантингом. Здесь я получил приглашение к французскому, английскому и американскому дипломатам. Толстенький, кругленький седеющий француз был безнадежно раздражен. Я и рта не успел раскрыть, как он стал негодовать на германские интриги, в которых-де уличен находившийся тогда в Копенгагене бывший член Думы Х. Англичанин, напротив, подавил каким-то зловещим молчанием, с каменным лицом он выслушал не без труда произносимые слова и ледяным голосом поблагодарил — как мне показалось — не за то, что я сообщил, а за то, что не забыл кончить.

Один из газетчиков, большой друг "Речи" и мой личный, заставил меня выступить с публичным докладом, собравшим, несмотря на отсутствие оповещения, полный почему-то адски холодный зал, словно для бледной иллюстрации одного из условий петербургской жизни, о которых нужно было рассказать. Тогда еще не обозначилось водораздела между группами беженцев, они еще не оформились, и после внимательно выслушанного доклада меня

окружили и титулованные аристократы, и генералы, и евреи, буквально засыпая вопросами и требуя свиданий для дополнительных бесед. Из таких приглашений след оставил файф-о-клок у супругов В. и С. Челноковых, занимавших большой номер в упомянутой уже гостинице. Он был очень похож на старшего брата, приятеля моего Михаила, московского городского голову, но яркие индивидуальные черты последнего у него выражены были гораздо бледнее и сходство вызывало представление об искусственной подделке. И самый файф-о-клок в бивуачной обстановке гостиницы, с чайником на спиртовке, тщательно воскрешавший знакомые разговоры и приемы таких общений в Петербурге, производил впечатление искусственности, любительской репетиции, и тут ужаснула, еще больше не дававшая покоя мысль, что вся наша жизнь в рассеянии есть только суррогат, или, выражаясь модным со времени войны словом, — эрзац.

Наиболее интересным в Копенгагене было свидание с графиней Витте, овдовевшей пять лет назад. Она занимала аппартаменты в более скромной гостинице, где жила с красавицей дочерью Верой Нарышкиной, усыновленной Сергеем Юльевичем, и ее двумя детьми — сыном, которому посвящены воспоминания деда, и дочерью, с гувернанткой и прислугой. Неизменным гостем был бывший дворцовый комендант Воейков, свитский генерал, в штатском костюме выглядевший переодетым фельдфебелем и капризно томившийся бездельем. Матильда Ивановна обрадовалась моему приезду: она только что получила от Маклакова из Парижа несколько десятков хранившихся там в сейфе тетрадей, содержавших мемуарные записи, кото-

рые Витте делал урывками во время заграничных поездок. В 1910 году мы встречались в Беаррице, и Витте читал мне главу о манифесте 17-го октября, содержавшую, между прочим, презрительную характеристику Проппера. * Я убеждал смягчить резкость выражений, что он и сделал.

Показывая груду тетрадей, графиня возбужденно всплескивала руками: "Знаете ли Вы, что когда Сергей Юльевич в 1905 году был в Америке, Шиф (Витте упоминает о нем, говоря об являвшейся к нему в Нью-Йорке еврейской депутации) предлагал миллион долларов за продажу авторских прав. Я напомню теперь Шифу об этом". Теперь, конечно, после того как революция дерзко сорвала все покровы с бюрократических тайн, о такой фантастической цифре речи никак не могло быть, но предприимчивая графиня, неохотно с этим соглашавшаяся, сама отправилась в Америку (помнится, она рассказывала — на американском военном судне) и при содействии Шифа продала авторские права, за сумму, много менее значительную, издательской фирме, которая (как затем и крупнейшее берлинское издательство) воспользовалась текстом, приготовленным на основании тщательной работы над рукописями для русского издания пасынком моим, молодым историком. Текст этот не вызвал никаких возражений со стороны М.И.Витте, но из-за моих "вступительных замечаний" у нас происходили горячие споры. Хотя замечания и начинаются с утверждения, что "граф Витте в ряду немногих наших выдающихся государственных деятелей за-

---

* Издатель петербургской газеты "Биржевые Новости".

нимает бесспорно наиболее видное место", но указание на его двойственную роль выводило графиню из себя, и мне стоило большого труда отстоять эту основную черту его деятельности, поступившись лишь объяснительными подробностями.

ПОЕЗДКА В ГЕРМАНИЮ

Драматический разгром северо-западного фронта, поглотивший все фикции, жестко поставил роковой вопрос, как же быть дальше? Куда деваться, как и чем жить? Вопрос еще обострялся неудачами, которые стали определяться у Деникина и Колчака. Здесь в Финляндии мы были как будто ближе всех к цели, Петербург можно было видеть в бинокль, а теперь над родиной опустился железный занавес, после чего только и остается разойтись по домам. А дома-то и не было, жили мы на бивуаках, отрешившись от всех привычек (составляющих "замену счастья"), но это и давало утешительное ощущение временности, переходности и концентрировало все помыслы на скорейшей ее ликвидации. Мы и теперь нимало не сомневались в недолговечности советской власти, бесспорным представлялось, что и без натиска извне она не устоит, но уверенность, что это случится завтра, по определенному плану, превращалась в уравнение с двумя неизвестными: как и когда. Томительную загадку всяк молодец решал на свой образец, самыми разнообразными,

окрашенными во все цвета спектра, даже с мельканием обычно невидимых лучей, способами, и это разнообразие положило начало распылению эмиграции.

Если нельзя определенно ответить, как и когда, то с бивуачной жизнью нужно покончить и устраиваться на зимних квартирах. Но опять же — куда деваться? Как и чем жить? Во времена былые немедленно являлось в подобных случаях на помощь легкомысленное "все образуется" и незаметно будило энергию. Так было у себя дома, там не страшно было и вертопрашничать; можно и не слышать земли под ногами — она, родная, устойчиво все-таки держала. Теперь на чужбине, которая после страшной войны еще не утряслась и все кругом зыблется, спасительное "все образуется" незаметно спряталось, чтобы даже и не напоминать о себе. А напрасно. Как раз теперь ему готовилась оттуда, откуда меньше всего можно было ожидать, щедрая дань.

Тревожно размышляя, куда деваться, я ни на минуту не останавливался на Германии: пустят ли туда редактора "Речи", до конца не перестававшей настаивать, чтобы Германия была разбита, чтобы, вульгарно выражаясь, хоть морда в крови, а наша взяла. Нелегко было поэтому поверить глазам, читая письмо из Берлина, в котором мой приятель приглашал приехать для переговоров с крупнейшей германской издательской фирмой Уллыптейн, выразившей желание совместно с русской группой организовать, под моим руководством, издательство русских книг. Конечно, я был нужен Уллыптейнам не с пустыми руками, но за деньгами дело тогда не стояло: уже в Гельсингфорсе некоторые из знакомых богачей, не находя приложения вывезен-

ным капиталам, сами возбуждали в качестве одного из предложений вопрос об основании заграницей русского издательства. Предложение солидной германской фирмы естественно подстегнуло это желание, и без всяких затруднений удалось собрать, отдельными паями от ста до пятисот тысяч марок, два миллиона (по тогдашнему биржевому курсу около двадцати тысяч золотых долларов) .

Въезд в голодную и холодную Германию был сопряжен с большими формальностями и, получив для меня разрешение из министерства иностранных дел, консул проникся таким почтением, что по моей просьбе дал таковое еще двум лицам. Зато финское министерство иностранных дел сочло уместным подчеркнуть изменившееся после крушения Юденича и отставки Маннергейма отношение к русским: весьма резко было отказано в разрешении вернуться в Финляндию, как я ни уверял, что больше приезжать и не собираюсь, но уехать не могу — германский консул не вправе поставить визу, если разрешения вернуться нет. Конечно, министерство и само понимало, что получается какой-то парадокс: если дальнейшее мое пребывание здесь стало нежелательным, то надо же облегчить отъезд, а не ставить ему препоны. Логика, в конце концов, и победила, едва ли, однако, благодаря мощи своей, скорее потому, что цель покуражиться была уже достигнута. На семейном совете было решено, что я отправляюсь один, а жена с сыновьями переедет в Териоки, где дети будут держать при местной гимназии экзамен на аттестат зрелости.

Несколько раз совершив уже поездку из Гельсингфорса в Копенгаген, я испытал новые впечатления лишь на немецкой границе, где из кокетливо чистых, удобных датских вагонов мы перешли в

германский поезд. Но новизна прозвучала отголоском так недавно на родине пережитого. Вагоны были еле освещены, не топлены, пассажиры сидели ежась в пальто и шубах, мрачные лица со стиснутыми зубами, недоверчивые взгляды исподлобья, гнетущее молчание — о чем уж теперь говорить? — изредка прерываемое громкими вздохами и восклицаниями.

Так в "смешном" анекдоте рассказывается про двух евреев, долго молча сидящих друг против друга в вагоне. Черные думы выдавливают у одного протяжное: ох-ох-ох, на что визави живо откликается: "Вы мне будете рассказывать, как тяжело жить".

Со мной был приятель (для которого я исхлопотал визу у германского консула), а другим соседом по скамье оказался русский же еврей, который обрадовался соотечественникам и глухим шепотом стал уверять, что в Германии делать нечего и жить невозможно, что ей уже не оправиться, почему он и ездил в Данию "нащупать почву". Лет через пять он превратился в недосягаемого мультимиллионера, владельца крупного автомобильного предприятия, собственника знаменитого "Спорт-Палас", чтобы еще раз через такой же промежуток времени разориться и вернуться к разбитому корыту.

На остановках расплываются в полутьме вокзалы, в настороженной тишине снуют сгорбившиеся люди, на всех лицах читаешь все тот же вопрос — что же будет дальше? — и сам недоумеваешь, для чего поезд остановился, зачем он длит тоскливое томление.

Как фантастически переменилась картина за восемь лет — в последний раз я был в Германии в

1911 году. Какая была тогда торжествующая уверенность, какое у каждого отчетливое сознание, что в государственной колеснице нет спиц первых и последних, что только при одинаковой прочности всех она может спокойно катиться вперед, поэтому колеса на стыках так победоносно стучат и правильность часового механизма можно проверять по времени прихода и отхода поездов... Теперь осталась только тупая исполнительность, расхлябанная инерция, гнетущая тяжесть разочарования и ощущение неизвестности. Но странно — нет, вовсе не странно, что именно в этой обстановке, впервые с тех пор, как покинул родину, я почувствовал себя не то чтобы уютно — об этом не могло быть речи, а как бы в домашнем родственном окружении: здесь некому и не до того было, чтобы напоминать тебе — вольно или невольно — о твоем бесправии или, в лучшем случае, проявлять высокомерное покровительство. Но чем безотраднее была перемена картины, тем глубже вгрызалось предположение о затаившейся здесь инстинктивной враждебности к позиции "Речи" во время войны, и я готовился к малоприятным разговорам на эту тему. Как далеки, как чужды действительности оказались такие домыслы: я мог бы повторить слова Чацкого — приехал и нашел, что ласкам нет конца.

Берлин остался как будто все тот же, никаких следов спартакистского восстания не видно было, неприкосновенными сияли даже таблички с надписью Aufgang nur für Herrschaften. Но мрачность и грязь (зима стояла снежная) сделали город неузнаваемым. В одной из лучших гостиниц "Кайзергоф", где (и не след бы мне туда) я остановился, отопление почти бездействовало, под видом кофе подавали сомнительную жижу со щепоткой сахара,

а молока, что кот наплакал, и у профессора Борткевича * за пустым чаем сидели в пальто и в ботах. Но люди были преувеличенно приветливы, встречали с раскрытыми объятиями, точно спешили предупредить, что прошлое забыто, что над ним поставлен крест.

В первые же дни довелось встретиться с двумя редакторами наиболее влиятельных газет — "Берлинер Тагеблатт", доктором Вольфом, и "Фоссише Цейтунг", профессором Бернгардтом. Между этими двумя людьми, представителями одной и той же профессии, одной социальной среды, одного культурного уровня, был до комизма яркий контраст, напоминающий рекламу, на которой изображены две каррикатурно разные фигуры с подписью: я ем геркулес, я не ем геркулеса. А так как оба редактора были евреи, то контраст мог служить вразумительным ответом на усердно возделываемые теперь теории расовых особенностей. С резкими чертами лица и крикливым голосом, Бернгардт, бывший социал-демократ, был необычайно шумлив, говорлив, напорист и до самозабвения экспансивен. У Вольфа — милое и красивое лицо в сочетании с обаятельными манерами, благородной осанкой и вдумчивой речью сразу привлекали симпитаю и доверие. Меньше всего Бернгардт интересовался газетой, появляясь в редакции метеором, чтобы продиктовать секретаршам несколько писем и передовую статью и затем мчаться на заседания разных обществ и союзов, в редакцию издаваемого им журнала "Плутус", в одно из высших

---

* Профессор-экономист Берлинского университета.

учебных заведений, в котором он читал лекции, в рейхстаг, депутатом которого короткое время он состоял, а в период головокружительных смен кабинетов чуть не стал даже министром финансов.

Напротив, у разносторонне образованного Вольфа центром жизненных интересов была газета, которой он целиком отдавал свой выдающийся публицистический и редакторский талант. Этой работой исчерпывалось его общественное служение.

Гитлеровский переворот лишил обоих германского гражданства и превратил в эмигрантов: Бернгардт стал в Париже еще шумливее, еще экспансивнее в качестве редактора основанной здесь немецкой газеты, и деятельность эта быстро завершилась для него судебными процессами с издателем и уничтожающим приговором Союза иностранных журналистов. А доктор Вольф сразу удалился с политической сцены, и имя его только однажды было вспомянуто по поводу выхода в свет его мемуаров.

К русским событиям и тот и другой проявили огромный интерес. Бернгардт позвал меня к обеду, пригласив еще пять-шесть человек — австрийского посланника, знаменитого Ратенау, крупного промышленника Леве и находившегося тогда в Берлине А.И.Гучкова, и после обеда, усевшись на председательское место на диване, предложил сделать подробный доклад о положении в России. Не успел, однако, Гучков начать свой рассказ, как Бернгардт перебил его вопросом, который затем стал комментировать и так и не дал никому слова произнести до двух часов ночи. Гулко звучали наши шаги в пустынном, словно вымершем городе — ”ун-

тергрунд" * и единственный автобус рано прекращали движение, но и такси не было, и долгой дорогой Гучков не переставал выражать шедшему с нами австрийскому посланнику сожаление, что Бернгардт не знаком с Козьмой Прутковым, который мудро учил: если у тебя есть фонтан, дай и ему отдохнуть.

С Вольфом меня познакомил сотрудник "Берлинер Тагеблатт" доктор Фосс. В уютном редакционном кабинете в колоссальном здании издательства Моссе Вольф очень умело наводящими вопросами заставил в течение двух часов поведать все, что мне было известно, и предложил затем это письменно изложить для газеты.

— Что вы предпочитаете — написать статью или дать интервью доктору Фоссу?

Доктор посмотрел на меня таким выразительным взглядом (немцы явно недоедали, и вопрос о гонораре имел первостепенное значение), что я избрал второе, и в двух номерах "Берлинер Тагеблатт" было напечатано обстоятельное изложение беседы. А через год с небольшим, после Рапалльского договора, Вольф резко изменил направление газеты, и командированный им в Москву талантливый публицист Шефер в своих корреспонденциях явился пионером европейского большевизанства. Я встретился с ним однажды у того же Фосса и в разговоре на злобу дня сказал, что, конечно, можно различно оценивать то, что в России происходит, но как мог Шефер уверять, что в своих высказываниях он нисколько не стеснен советской

---

* Подземная железная дорога в Берлине.

цензурой. Он без обиняков признал, что был неправ, написал это сгоряча в ответ на многочисленные письма с упреками и ругательствами, которыми его донимали читатели.

— Я изнемогал под этим натиском и только один доктор Вольф меня поддерживал и одобрял.

Увы, услужливость только раздражала аппетиты советской власти, она отплатила Шеферу черной неблагодарностью, лишив его права пребывания в Москве. Столь же неблагодарным, по той же причине, оказался и национал-социалистический режим, которому Шефер вызвался служить на редакторском посту после удаления Вольфа — его самого тоже убрали спустя некоторое время.

Бернгардт тоже просил меня выступить со статьей, которой редакция предпослала неумеренно лестную рекомендацию, и я подробно развил свою заветную мысль в "Открытом письме социал-демократам", убеждая их тщательно отгородиться от большевиков. Я утверждал, что "Россия стоит перед опасностью страшной реакции, которая разольется далеко за пределы русского государства", и что реакция тем больнее ударит по социалистам, чем теснее они свяжут себя с судьбой большевистского режима.

Ровно никакого впечатления предостережение не произвело, напротив — когда во время одной из избирательных кампаний коммунисты, по инструкции из Москвы, сделали себе мишенью социал-демократов, ни перед чем не останавливаясь, только бы их опозорить, — благодушный, демонстративно корректный председатель Рейсхтага Лебе печатно предложил отказаться от устройства социал-демократических собраний, чтобы прекратить соблазнительное зрелище борьбы "братских партий", не вы-

носить сор из общей избы. Зато вспомнил о моем предостережении Керенский, в своей газете "День" процитировав "Открытое письмо". Я возгордился, предположив, что он хочет похвалить мое предвидение, а оказалось, что он привел цитату как пример курьезной нелепицы.

Появление в "Берлинер Тагеблатт" беседы со мной вызвало приток писем от разных лиц, знакомых и незнакомых. Одно из них было от профессора Гетча, сторонника союза России с Германией, не скрывавшего своего мнения и в разгаре войны. Теперь он еще прочней укрепился на своей позиции, разделяя вместе с тем уверенность в недолговечности советского режима и возвращении эмигрантов к руководящей роли в России. Он совсем сконфузил меня, напомнив о встречах в Петербурге и продолжительных разговорах, а в моей памяти ровно ничего от этого не осталось, я готов был присягнуть, что впервые вижу его физиономию, и ужаснулся мысли, как безоглядно мы — как маниаки — жили, вперив глаза в одну точку и все остальное пропуская мимо глаз и ушей, сквозь дырявое сито.

В мою честь Гетч устроил обед в клубе, открытом во время войны; в пункте первом устава клуба значилось, что членами и гостями не могут быть граждане воюющих с Германией государств, и для меня допущено было первое исключение. За столом было человек десять, среди коих вспоминаю кратковременного преемника убитого графа Мирбаха — доктора Гельфериха, чиновника русского отдела министерства иностранных дел доктора Гана, поспешившего предложить всяческое содействие министерства, если оно понадобится основываемому издательству, и видного социал-демократа,

никак не могу поймать в памяти его фамилию. Оживленный разговор вертелся вокруг высказанных в напечатанной беседе взглядов, и я был очень обласкан единодушными заявлениями о полном согласии с ними, об общности интересов Германии и России, еще сцементированной общим несчастьем.

Отчетливей запомнился другой обед, устроенный известным еврейским общественным деятелем доктором Натаном, который не раз приезжал в Петербург по делам заграничной помощи пострадавшим от погромов евреям. Богатый образованный холостяк, он был другом и последователем Фридриха Наумана, основателя национал-социального ферейна, влившегося в демократическую партию при рождении ее в 1919 году, и весьма дорожил политической и общественной ролью, но его не пускали выше участия в городском самоуправлении Берлина, а когда при новом республиканском строе он не попал и в гласные городской думы, то записался в социал-демократическую партию, объясняя странный переход от буржуазного к марксистскому мировоззрению так, что "между нами, левыми демократами, и социал-демократами существенной разницы нет". За ним двинулся еще дальше влево (к "независимым социал-демократам") другой страстный наумановец Брайштейд, сделавший на новой модной позиции шумную политическую карьеру. За обедом, который Натан для меня устроил, было несколько министров, во главе в добродушным цветущим канцлером Германом Мюллером и высоким суровым военным министром Носке, "кровавым псом", как честили его левые за беспощадное усмирение восстания спартакистов. Оба были еще совсем молоды и непочтительно смотрели поверх "маститого" теоретика социал-

демократов Эдуарда Бернштейна, слишком явно проявлявшего старческую словоохотливость. Я дал ей смачную пищу, напомнив об его сотрудничестве в "Праве". С расплывшейся по всему лицу блаженной улыбкой и воодушевлением, комически не соответствовавшим нетерпеливому равнодушию слушателей, он рассказывал о чем писал в "Праве", какое значение придавал этим статьям, какой гонорар за них получал и т.д.

Среди остальных гостей вспоминаю уже знакомого Теодора Вольфа и творца веймарской конституции профессора Гуго Прейсса. Я попытался осведомиться у него о настроениях молодежи, о положении университета при новом строе, он все отнекивался и, наконец, прямо заявил, что больше кафедры не занимает, а потому вопросы мои его больше не касаются. Сейчас во всяком случае для него в особенности, да и для всех присутствующих на первом плане стоял обед, который не был фоном для беседы, а довлеющим себе делом, к коему следовало отнестись со всей серьезностью и вниманием.

Когда перед обедом Вольф выражал мне благодарность за интервью, все хором комплементировали: ах как интересно! Очень интересно! Как глубокомысленно!.. Дальнейших вопросов, однако, никто не ставил, повторять в третий раз то, что было подробно изложено в напечатанной беседе, еще меньше улыбалось, поэтому воодушевления не было, разговор плохо клеился и незаметно соскочил на германскую революцию. Сразу наступило оживление, лица, все гуще заволакиваемые сигарным дымом, повеселели, посыпались сопровождаемые громкими взрывами смеха воспоминания о разных инцидентах, забавные остроты над уличны-

ми манифестантами, которые не забывали тщательно обходить куртины и насаждения и т.п. Тяжко было слушать, сопоставляя это с нашими воспоминаниями, и так и хотелось сказать: да какая же это революция, это ведь тоже только эрзац.

Конечно, трудно было социал-демократам не поддаться головокружению от одержанного ими успеха, некоторые, и прежде всего, разумеется, многочисленные неофиты, просто сияли самодовольством, как истые выскочки. В этом отношении здесь полностью воспроизводилось то, что можно было и у нас наблюдать в первый период революции. Гораздо любопытнее мне было вызывающее поведение прославленного германского юнкерства, с двумя типичнейшими представителями коего я встретился, тоже на званом обеде. С места в карьер между ними и бывшим тут Бернгардтом и одним социал-демократом вспыхнул запальчивый спор о старых и новых порядках, юнкера сразу заняли агрессивную позицию, бодро и уверенно нападали, а Бернгардт и его союзники изо всех сил защищались, и никак нельзя было сказать, что победителями вышли осажденные. Я тогда же отметил эту характерную сценку корреспонденцией, напечатанной в издававшейся Милюковым в Лондоне "Новой России".

Забвение прошлого, столь неожиданно встреченное в Германии, было приятно, иногда даже обворожительно. Но я удивлялся, что оно распространяется и на победителей, что и в отношении к ним не видно было никаких следов злопамятства. Молодой чиновник одной из французских миссий, племянник известного дипломата, женатый на русской, держал "салон", который бывал полон видных представителей берлинской интеллигентской

среды. Однажды хозяин подтвердил мне это в форме мало обычной: "Да, у нас все бывают. Скажите, кого Вы хотели бы видеть из здешних знаменитостей — я сейчас позвоню". Такая властная развязность показалась мне грубо оскорбительной, но было ли тут без вины самих немцев, несомненно перебарщивавших в демонстрации забвения, которое не вполне же можно согласовать с истиной, что человеку ничто человеческое не чуждо — да и не должно быть чуждо.

Русская эмиграция, если не считать военнопленных, которые пока скупо в нее из лагерей просачивались, была не многочисленна и не организована. Существовало только одно весьма деятельное благотворительное "Общество помощи русским гражданам 1916 года", созданное в начале войны задержанными в Германии русскими и постепенно переносившее свою деятельность на беженцев. Но уже к моменту моего приезда образовалась первая политически окрашенная ячейка, которую, если не по намерениям инициатора, то объективно, можно считать прототипом, лучше сказать — предвестником большевизанства. Она быстро сошла на нет: одна ласточка весны не делает и сама замерзает, но приближение весны бесспорно обозначает.

Инициатором ее был В.Б.Станкевич. С ним я в первые же дни берлинского пребывания познакомился и вынес самое отрадное впечатление. Меня привлекал его беспокойный дух, тревожная любовь к родине и безоглядная независимость суждений, в которой чуялось нечто от обожаемого князя Мышкина. Но он был исключительно разносторонним, пытливым и всегда ненасытно ищущим. Состоя во время войны приват-доцентом Петербургского университета, он не подлежал во-

инской повинности, но добровольно поступил в военное училище и по окончании отправился на фронт прапорщиком сапером. Этого было достаточно, чтобы написать учебник фортификации, рекомендованный к употреблению штабом армии. В Берлине он издал книгу чрезвычайно интересных воспоминаний, а для юношества весьма умело популяризировал описание путешествия Нансена на "Фраме". Во время большевистского переворота он отстаивал от большевиков телефонную станцию, а теперь выступил с дерзким лозунгом прекращения гражданской войны, еще бушевавшей на юге, и водворения "мира и труда" (так и называлась организация).

Небольшая кучка людей, сгруппировавшаяся вокруг него по самым разнообразным побуждениям и без побуждений, просто от безделья, духом была бесконечно далека, и среди них Станкевич напоминал анекдотического еврея, который, встретив разбойника, напялил на одну руку ермолку, на другую шапку свою, чтобы убедить, что он не один, а их трое. Но Станкевич увлечен был своей идеей, слишком верил в ее торжество, чтобы оценивать своих прозелитов и взвешивать их значение.

Появление "Мира и Труда" привело к первому обнаружению внутренних трений в беженстве, и меня тогда несказанно огорчало, что наш домашний спор развертывается на глазах у иностранцев и неизбежно роняет авторитет эмиграции. Так дальше оно уже и пошло все более быстрыми темпами, а сам Станкевич, после бесследного исчезновения "Мира и Труда" получил как уроженец ковенской губернии литовское гражданство и, став профессором Ковенского университета и видным адвокатом, напечатал на литовском языке курс уголов-

ного права. После этого он погрузился в исторические изыскания в поисках "вот человека" и в интереснейшем докладе изобразил таковых в лице апостола Павла, индийского царя Ашоки и Кромвеля. Наряду с этим беспокойный дух направил его в область изобретательства, и одно из открытий по части электричества заслужило лестный отзыв знаменитого физика Нэрнста. Недавно появилась новая оригинальноя книга его — "Динамика мировой истории", которая, наперекор или даже на зло распространенному представлению о "Закате Европы",* уверяет, что мы вступаем в золотой век, и силится его конкретно изобразить. Изображение получается довольно беспомощное, но именно как резкий диссонанс в пессимистическом хоре, книга останется ценной черточкой для характеристики нашей эпохи.

Все эти встречи и беседы происходили вечерами, день почти целиком уходил на переговоры с Улльштейном. Грандиозность этого газетного и книжного издательства, расположенного рядом с Моссе, Шерлем и другими крупными фирмами, поражала: ничего подобного в России видеть не приходилось — назвать "Общественную пользу", которой я руководил в Петербурге, карлицей тоже было бы, пожалуй преувеличением. Выходивший на три улицы огромный комплекс домов издательства; типография, роскошно оборудованная по последнему слову техники и поглощавшая ежедневно несколько вагонов бумаги; автомобильный парк, по количеству машин уступавший только

---

* Знаменитая книга германского философа Шпенглера.

почтовому ведомству; тысячи рабочих и служащих; десятка два редакций книг, газет и журналов, из коих некоторые имели самый крупный тираж в Германии; огромная библиотека в десять тысяч томов, умело подобранная для энциклопедических потребностей периодической прессы; тщательно составленный архив газетных и журнальных вырезок о лицах и событиях (архивариус не преминул польстить мне, показав папку, содержащую несколько вырезок о члене Государственной Думы Гессене с библиографическими данными и фотографией); свое осведомительное агенство с телеграфными и телефонными корреспондентами из всех частей света; много десятков тысяч ежедневно входящих и исходящих почтовых отправлений; свои аэропланы для скорейшей доставки газет и многотысячный штат уличных продавцов и разносчиков по абонентам; свои электрическая, телефонная и радиостанции.

Впоследствии выстроено было на краю города, в Темпельгофе, еще одно такое же колоссальное здание для печатни в точном смысле слова — набор в виде матриц доставлялся из "метрополии", а здесь были только печатные машины размером с дом, с широким применением конвейерной системы. Здание щеголяло простором, обилием света, несколькими столовыми для персонала, душами и ваннами для рабочих и другими усовершенствованиями, заставлявшими ахать иностранцев, которым эта, едва ли не первая и единственная печатня демонстрировалась, как берлинская диковинка.

Не меньше поражало и то, что в этих человеческих ульях не было не только никакой суеты, но и спешки — все делалось чинно и аккуратно. Для полуденной газеты "Berliner Zeidung am Mittag" ме-

жду сдачей последнего оригинала в набор и появлением газеты на улице проходило несколько минут (не то двенадцать, не то шестнадцать); за это время предстояло набрать на линотипе некоторое количество строк, изготовить матрицу страницы, в которую последний набор вставлен, отлить стереотип и приладить его к печатной машине: нетрудно представить себе, какое требовалось от всех участников напряжение, а совершалось это как будто само собой, словно и люди превратились в конвейер.

В бесконечных корридорах шестиэтажного здания с дверьми, дверьми и еще дверьми по обеим сторонам царила невозмутимая тишина, редко кого и встретить можно было — все за дверьми сидели по своим кельям, сухо конторски обставленным, и каждый занят был как пчела своей ячейкой сотов. Когда позже, водворившись в этом доме, я из своего кабинета со столом, заваленным рукописями, корректурами, письмами, спускался этажем ниже к главному бухгалтеру, предварив о приходе, я ожидал, что застану его углубленным в цифровые фолианты, но, к изумлению и смущению, зрел девственно чистенький стол, а обладателя его беспечно смотрящим на дверь, из которой я появлялся, точно другого дела, кроме беседы со мной, у него не было. А когда с Набоковым мы, представители русской группы пайщиков, входили в зал заседания наблюдательного совета не в три часа, как было назначено, а ровно двумя минутами позже, немецкие коллеги, бывшие уже в сборе, укоризненно взглядывали на стенные часы.

Предприятие, не насчитывающее тогда и пятидесяти лет жизни, основано было отцом нынешних пяти братьев, разделивших между собой различные

отрасли управления. Оно росло не по дням, а по часам, чуть не ежедневно возникали все новые проекты, с исключительной тщательностью разрабатываемые, не щадя затрат денег и труда. Лишь малая часть проектов доспевала до осуществления, но зато уж хоть редко, да метко.

Когда в 1898 году мы основали ''Право'', старейший тогда редактор-издатель ''Вестника Европы'' М.М.Стасюлевич наставлял меня: ''Если подписка на Новый год даст увеличение, хотя бы на один экземпляр, смело продолжайте. Но если число подписчиков даже на одну только единицу уменьшится, немедленно ликвидируйте''. Здесь темпы были совсем другие: созданный для сельской провинции журнал ''Grüne Woche'' через несколько месяцев кичился миллионным тиражом. Оригинальные самоучители для европейских языков брались нарасхват. ''Illustrierte Zeitung'', перевалившая за два миллиона тиража (в Германии небывалого), имела целый штаб вояжеров, странствующих по городам и весям, чтобы следить, осведомляться и представлять отчеты о вкусах и склонностях читателя, и угождение этим вкусам было всепоглощающей заботой издательства.

Представителем фирмы в переговорах с нами был коммерческий директор предприятия Гравенштейн, прошедший войну в качестве офицера запаса. Высокий, поджарый блондин, всегда возбужденно настроенный, он, даже сидя на месте, казался, благодаря неугомонной жестикуляции и оживленной многоречивости, весь в движении, точно на шарнирах, и явно нарушал фундаментальный стиль предприятия. Повидимому, фирма соблазнялась его способностью изобретать самые разнообразные проекты, но эта способность выродилась в

прожектерство, его увлекало не содержание придуманного плана, а его наличность, открывающая новую возможность вести переговоры, строить комбинации. Прожектерство было у него как бы смазочным маслом для шарниров — чем больше проектов, тем шарниры будут податливее, а каковы сами по себе проекты, это уже вопрос второстепенный. Сегодня он покупал газетное или книжное издательство в Лейпциге, а завтра продавал его, чтобы приобрести такое же в Аугсбурге. С богатыми евреями-эмигрантами основано было быстро погибшее издательство книг на иддиш, приезжали испанцы для переговоров о совместной постановке типографии в Барселоне, их сменяли итальянцы, после них явились американцы, с которыми предстояло осуществить в Германии какое-то "гениальное" усовершенствование наборных машин, для чего был уже куплен большой дом, заснят был фильм с производства и затем все пошло прахом. И всякому такому проекту он больше всего радовался пожалуй потому, что это служило поводом — приглашением к себе или в дорогой ресторан проявить бурное хлебосольство — завтрак, обед, непременно с каким-нибудь, якобы национальным (по гостю) блюдом (для меня придумана была загадочная стряпня, которую он выдавал за борщ), с шампанским, ассортиментом ликеров, дорогими сигарами.

Однажды он совсем удивил приглашением на "бир абенд", которое было выражено в форме стихотворения строк в тридцать и напечатано на раскрашенном картоне, изображавшем свинью. И в прихожей, еле освещенной красной лампочкой, красовалась голова свиньи, перед каждым кувертом лежал бумажный колпак разной формы и рас-

цветки и трещотки, тоже разные. Когда лакеи принесли Eisbein, все, по знаку хозяина, обрядились в колпаки, а когда стали разливать из разукрашенных боченков новое пиво (оно-то и было на этот раз виновником торжества), по команде амфитриона пущены были в ход все трещотки и свистульки, поднявшие оглушительную какафонию, а Гравенштейн еще прикрикивал, лицо сияло блаженством, он был в своей стихии. Но чем выше поднималось веселье, тем назойливее звучала в ушах нотка чего-то напускного, заказного: дескать, нужно же в кои веки и поразмяться, попировать по всем правилам забубенности. Я готов был допустить и обратное, что напускным, умозрительным являлось испытываемое отчуждение, что нелепо было навязывать им смертельно щемящую психологию выброшенного из родной колеи человека, но после ужина, оставив на столе колпаки и трещотки, все перешли в кабинет, уселись в глубокие кресла, попивая кофе с ликером и попыхивая ароматными сигарами, и, казалось, как по команде, неудержимый разгул уступил место серьезному разговору о России, о судьбах которой меня стали пытать.

Каюсь, под влиянием алкогольных паров, я стал горячо уверять, что русская катастрофа не случайность, а мучительные роды эпохи, что поэтому более неопределенными являются ближайшие судьбы Германии, симптомом чего служит опасный неустойчивый политический разброд... Меня опять перебивали лестными отзывами, но осторожно спускали "с птичьего дуазо" на твердую землю, и все — а были тут главным образом представители интеллигентных профессий — наперерыв доискивались, можно ли торговать с Россией, будет ли со-

ветская власть платить по векселям, очень ли рискованна поездка в Москву и т.д.

Теперь кажется непостижимым, как могли мы не заметить опасностей гравенштейновского аллюра, почему я пропустил мимо ушей прямое указание д-ра Натана, что "и издательство Моссе, хотя и менее крупное, но более авторитетное, охотно заключило бы с нами компанейский договор". Но надо принять во внимание, что внезапные для нас качества нашего партнера открылись уже позже — на первых порах мы были далеки от мысли, что имеются среди немцев, тем более после тяжкого поражения, такие экземпляры, и принимали его возбужденность за переливающуюся через край деловитость — так подсказывало его ответственное положение в солиднейшей фирме.

Прежде чем договор был выработан, Гравенштейн составил не меньше десяти проектов. Если тот или другой пункт смущал нас, он быстро уступал. Но ни за что не хотел он отказаться от намерения устроить типографию издательства в Данциге, который и считать юридическим местопребыванием.

— Помилуйте, ведь Данциг вольный город, морем доставлять в Россию книги гораздо дешевле. Нет, нет. Вы уж, пожалуйста, не спорьте.

Но подоплека — надо думать — и здесь была та, что фирма будет иметь филиал в Данциге, что туда уйдет часть машин из Берлина, а вместо них будут куплены новые, надо будет нанимать помещение или купить дом — сколько завлекательных комбинаций. Он и послал в Данциг, еще прежде чем договор был оформлен, служащего, и как радостно светился и подскакивал на месте в кресле, когда тот по телефону сообщил, что великолепное

помещение найдено, потому что он успел "кого нужно подмазать".

А потом весь этот план, как карточный домик, рухнул, проданные нам машины, не тронувшись с места, вернулись в лоно фирмы — для этого достаточно было сторнированной бухгалтерской записи, и ежегодным неприятным напоминанием оставалась лишь возня с освобождением от двойного налогового обложения и необходимость устраивать ежегодное общее собрание пайщиков в Данциге.

Последней заботой его, когда мы явились к нотариусу для оформления договора, была суета вокруг моей подписи: он требовал, чтобы, "как полагается по-русски", я написал и отчество, и с видом знатока пространно объяснял нотариусу значение этого обычая и раз двадцать повторял "Владимирович" с ударением на *о*.

В пару ему была и другая характерная фигура — еще не пожилой, но уже разжиревший социал-демократ, занимавший неопределенное положение генерального советодателя. Он и не ждал, чтобы совета у него спросили, а сам спешил с ним и, начав говорить, оказывался бессильным перед потоком увлекающей его речи, которая с одинаковым апломбом могла орошать любой социальный вопрос. Во время переворота он состоял товарищем председателя недолговечного берлинского совета рабочих и солдатских депутатов, сумел мужественно отстоять издательство от захвата спартакистами, о чем, рисуясь, очень любил рассказывать. А так как тревога еще не улеглась, и крайние элементы давали себя знать буйными демонстрациями и стачками, угроза "пучей" (восстаний) слева и справа висела в воздухе, и это укрепляло его авто-

ритет. К тому же было у него импонирующее свойство — он критиковал все и всех, и, слушая его характеристики, нельзя было не вспомнить гоголевского персонажа, уверявшего, что "один только и есть там порядочный человек, да и тот, если правду сказать, свинья". Больше всего доставалось правительству, независимо от того, что часто и причудливо менялся состав и почти неизменными участниками были его политические союзники. Калисский — так его звали — был решительным сторонником примирения с французами и протестовал против попыток уклонения от выполнения версальского трактата.

— Вы только подумайте, — захлебывался он негодованием, — вчера, когда Симонс (двухмесячный министр иностранных дел) уезжал на конференцию в Лондон и провожавшие на вокзале высшие чины министерства убеждали его быть твердым, он, из отходящего уже поезда, высунулся в окно и, потрясая кулаком — мол, мы им покажем — показал кукиш в кармане.

На этой почве разгорелась даже, в виде редкого исключения, полемика между "Фоссише Цейтунг" и "Берлинер Тагеблатт" (в отличие от русских, немецкие газеты тщательно полемики избегают: зачем знакомить читателя с тем, что говорит другая газета, если он знает и верит только своей). Пылкий Бернгардт привлек Вольфа к суду по обвинению в клевете, на что Вольф ответил пренебрежительным: "Ладно, встретимся при Филиппи", но Бернгардт быстро остыл и дал делу завять в канцелярии.

Меня не раз поражали в Берлине уличные сценки: двое или несколько молодцов из-за чего-то поссорились, сыплются ругательства, мелькают в

воздухе сжатые кулаки, из собравшейся толпы раздаются ободряющие возгласы, рукоприкладство кажется неизбежным, вот-вот брызнет кровь. Но в этот момент предельного напряжения враги поворачиваются друг к другу спинами и расходятся в противоположные стороны, сопровождаемые разделившейся на две части толпой, сочувственно обсуждавшей с ними, как они могли набить морду противнику, если бы тот осмелился пустить руки в ход.

По мере того, как жизнь в Германии возвращалась к норме, советодательство становилось все более отяготительным и возбуждало у хозяев желание спросить совет, как от самого советчика избавиться, и Калисский покинул издательство, чуть ли не одновременно с Гравенштейном. Но в 1920 году, когда я приехал в Берлин, он был в апогее влияния и, как страстный антибольшевик, проявлял к нам искреннюю благожелательность и оказывал всемерное содействие, в особенности при основании "Руля", в переговорах с Уллынтейном.

Только что договор был оформлен, я поспешил назад в Финляндию, выпросив отсрочку осуществления договора на месяц. Жена настойчиво вызывала в Териоки, где она оставалась с детьми и была поглощена заботой о вызволении из Петербурга старших сыновей. Такая же забота одолевала и жену Каминки * по отношению к своим детям, тоже находившимся в Петербурге, но обе не решались довериться предлагавшим свои услуги

---

* **Проф. А.И.Каминка, один из редакторов газеты "Руль" в Берлине.**

контрабандистам и ни на чем не могли остановиться. Тем охотнее я поехал, что чувствовал потребность приостановить нагрузку разнообразных, частью совсем неожиданных впечатлений, разобраться в них, а еще необходимее было обдумать план предстоящей деятельности. Хоть я и не был в ней новичком, но обстановка была настолько необычна, имелось в ней так много неизвестных величин (количественный и качественный, возрастной и социальный состав беженства, его географическое расселение, интерес к родной литературе), что в значительной мере предстояло действовать вслепую.

В Гельсингфорсе от прежнего оживления не осталось следа. Гражданская война отшумела, все словесные бойцы поразъехались, а застрявшие беженцы, все острей захватываемые борьбой за существование, держались тише воды ниже травы и поднимали голос только для того, чтобы по всякому поводу, в особенности же в ответ на напоминание о "незваном госте", подтвердить свою лояльность, восхвалить молодую государственность и выразить признательность за широкое гостеприимство. А как славно можно было бы отдохнуть, полной грудью надышаться в мягкой, задумчивой тишине успокоенных под толстым снежным покровом Териок. Но теперь карантин переполнен был бежавшими — кто ждал визы, кто денег, кто искал родных. Понятно, что появление человека, который, если и не может вполне свободно передвигаться, то хоть не прикреплен к месту, — обратило на себя общее внимание, и меня буквально стали осаждать всякими просьбами, поручениями, юридическими вопросами и т.д. А однажды, когда я вы-

шел на улицу, на меня с искаженными лицами набросились два человека, уныло двигавшиеся в сопровождении полицейских, и только когда они стиснули мои руки, полным отчаяния голосом беспорядочно восклицая: "Нас посылают обратно... что делать... это ведь смерть...", я узнал в них двух хорошо знакомых петербургских адвокатов — армянина З. и еврея Гл. Последний имел обширную клиентуру и был очень богат. Оба были доставлены возницей (или лодочником) в укрепленный район Койвисто, что и послужило, вероятно, основанием для подозрительного отношения финских властей и распоряжения о высылке обратно в Россию.

Вместе с ними я отправился к коменданту, который был непреклонен и, как попугай, твердил, что не имеет права оставить их в Финляндии, что это превышает его компетенцию. Он сдался лишь на настойчивую просьбу отсрочить высылку на двадцать четыре часа, с тем что я поеду в Гельсингфорс и в министерстве исхлопочу разрешение. Так я и сделал, в этот раз последнее оружие — тароватое краснословие — помогло: военный министр Вальден, взяв подписку, коей я принимал на себя ответственность за благонадежность моих протеже, послал коменданту телеграфное разрешение оставить их в Финляндии.

Зато другое поручение, не менее насущное, выполнить не удалось: у них было мало наличных денег, но в Петербурге Гл. обменял у разных лиц свое миллионное состояние на вкладной билет гельсингфорского банка с надлежащей передаточной надписью крупного петербургского виноторговца, на чеки стокгольмского Эншильд-банка и крупного промышленного предприятия в Копенга-

гене. Я начал с гельсингфорского банка, где служащий, проверив по книгам наличность вклада, спросил, хочу ли я получить всю сумму. Я передал ему распоряжение приятеля, и он пошел выполнять, а я уже радовался, что и это поручение удачно ликвидируется. Но служащий замешкался и наконец пригласил меня к директору, которого я знал и теперь увидел в сильнейшем возбуждении.

— Представьте себе, какое странное совпадение: за пять минут до Вас на этом же кресле сидел поверенный матери виноторговца, передавшего вкладной билет. Три месяца назад она напечатала, как того требует закон, объявление об утере билета, и послезавтра наступает срок, по истечении коего она имеет право на получение вклада. По этому поводу и приходил только что ее поверенный, прося выдать предварительно хоть небольшую сумму, ибо она находится в Гамбурге в очень стесненных обстоятельствах. И вдруг являетесь Вы с утерянным билетом. Зная Вас, я воздержался от приглашения полиции для расследования этого странного совпадения, но Вы разыщите поверенного и придите с ним к соглашению.

Мои разъяснения, что передаточная надпись сделана правильно, на основании выданной матерью доверенности, не помогли, и я должен был уйти не солоно хлебавши. Наученный этим опытом, я в Стокгольме отправился в Эншильд-банк с рекомендацией Гулькевича, имевшего там текущий счет посольства, и тоже встретил подозрительные взгляды и выслушал, что уже не впервые предъявляются чеки этого господина (забыл фамилию его), не имеющие покрытия. В несколько ином варианте то же самое произошло и в Копенгагене, где моим влиятельным посредником был граф М.

А впоследствии Гл. сообщил мне, что так-таки ни гроша не получил по всем этим документам — миллионное состояние превратилось в фантасмагорию.

За всем тем оставалась на первом месте забота о вызволении детей из Петербурга. У меня не было сомнений, которые смущали жену: финские контрабандисты — огромные косолапые крестьяне с простодушными лицами, честными глазами и спокойной уверенной речью исключали подозрение в обмане, а тем более, в подвохе. Сомневаться можно было только в ловкости их и умении. Но непрерывный приток беженцев, ежедневно вливавшийся в Финляндию, наводил на мысль, что дело основательно "налажено" за счет высоких цен, которые финны заламывали за свои услуги. И действительно, хотя и с мучительной задержкой, дети добрались благополучно.

Супруга А.И.Каминки рассказывала мне потом, что, обуреваемая тревогой и нетерпением, они с моей женой каждый вечер приходили в комендатуру в надежде увидеть своих, и с каждым разом обманутая надежда все больше уступала место гнетущей безнадежности. Так однажды сидели они, и жена смотрела перед собой не верящими, не видящими уже глазами, как вдруг А.К.Каминка толкнула ее, крикнув, — да вот же Тата. Этот толчок сорвал пелену с глаз и, истерически рыдая, жена бросилась обнимать внучку.

Но случались и тяжелые драмы. Профессор А.Э.Нольде на рассвете переходил через границу со своей падчерицей. Увидев издали, уже на финской земле, часового, он бросился к нему бежать, махая белым платком, а тот выстрелил и уложил радостно к нему бегущего на месте.

Почти двадцать лет миновало с тех пор, но и

сейчас еще живо воспоминание о страшных днях, проведенных с вдовой его, которая следом за убитым мужем, на другую ночь пришла со второй дочерью своей в Финляндию и от нас узнала об его гибели. Два дня пластом лежала она с сухими глазами, не произнося ни слова, парализованная молниеносной жестокой бессмысленностью. Как я завидовал жене, которая под разными предлогами — ищет ключи, нужно достать что-нибудь из шкафа — входила к ней в комнату и все говорила — больше сама с собой — о каких-то пустяках, как будто и не знает, что произошло нечто страшное, и незаметно подталкивала ее назад, к спуску в жизненный поток, из которого ее таким резким толчком выбросило. А у меня только злоба в груди клокотала против новых порядков, превращающих человека в слепое орудие убийства, я искал для нее слова утешения, и страшно было произнести их, чтобы не порвать предельно натянутые безответной мукой струны сердца ее.

Однако, если отрешиться от субъективного впечатления, то надо оговориться, что этот случай далеко не самый страшный. Позже, в Берлине, когда мы издавали ”Руль”, я получил письмо с просьбой огласить его в газете. Цитирую несколько строк: ”Румынскую границу через Днестр у с. Вертужаны перешло пять человек — жена одесского купца Рейдер, 62-х лет, дочь ее Дина 36-ти лет с двумя детьми 9-ти и 11-ти лет и полуторогодовалая девочка другой дочери Рейдер. Они были задержаны пограничным румынским офицером Морареску, старуха Рейдер, дочь ее и малютка были расстреляны, а двое детей, легко раненные, перебрались обратно через Днестр. Находившиеся уже в Румынии муж и сын Рейдер,

узнав об этом, поспешили к месту происшествия, но были арестованы Морареску, обвинены в большевизме и брошены в крепость. Через две недели, благодаря вмешательству общественных деятелей, они были освобождены... Выражаем надежду, что найдется румынская газета, которая перепечатает это письмо''.

Нет, не нашлось — так противостоит фантасмагории самая настоящая реальная действительность!

ПЕРЕХОД К ОСЕДЛОСТИ

К моему возвращению в Берлин картина беженства уже значительно изменилась, нашего полку много прибыло и с каждым днем все больше накапливалось. Радостно встречались старые приятели, но и чужие, знавшие друг друга только в лицо, здесь испытывали притяжение. Создавалось свое окружение, вызывавшее иллюзию утерянного самостояния. Это было пока еще далеко от "государства в государстве", но навязывалось сравнение с опытом, который был показан в гимназии преподавателем физики и произвел впечатление замечательного фокуса: опущенное в чуждую ему жидкую среду масло собиралось в шарик и в таком виде независимо держалось.

Несмотря на немецкое гостеприимство, в чуждой среде мы не могли не чувствовать себя инородным телом, в особенности по мере того, как из гостей, к которым любезные хозяева стараются примениться и угождать, мы превращались в сожителей, цыганским наклонностям коих все настойчивей противопоставлялись в повседневном быту заско-

рузлые традиции, закоренелые обычаи и навыки и, главным образом, пожалуй, феноменальная расчетливость, исторгавшая иногда невольный крик изумления. Однажды я зашел по срочному делу к приятелю, нанимавшему комнату в немецкой семье и, не застав его дома, решил подождать, усевшись на диване. Через полчаса вошла прислуга и очень вежливо попросила, по поручению хозяйки, пересесть на принесенную деревянную табуретку, чтобы не просидеть дивана. Другая квартирохозяйка принимала горячее участие в опасно захворавшем жильце, помогала жене ухаживать за больным, всячески ее утешала и ободряла, а после смерти подала вдове очередной счет, в котором последней записью значилось: "за перенесенные огорчения" столько-то марок. Один знакомый беженец, собравшись ехать в Лейпциг, перед отходом поезда скоропостижно скончался. Наследники предъявили в кассу неиспользованный железнодорожный билет и получили внесенную умершим сумму, за вычетом, однако, десяти пфеннигов, потому что смерть застигла беженца на перроне, а за выход на перрон взимается десять пфеннигов.

Вероятно, еще больше изумления, а подчас и негодования вызывали мы у квартирохозяек упорным, казавшимся им нарочитым беспорядком в комнате, ночными бдениями, поздним вставанием и т.п. Как-то при перемене квартиры нам пришлось провести несколько дней в пансионе, в котором остановился и только что приехавший из России Андрей Белый — он тогда ликвидировал отношения с женой своей Асей Тургеневой. Утром в крайнем возбуждении прибежала в мою комнату почтенная вдова "фрау Альбертс" и просила дать совет: выселить ли беспокойного жильца или предупредить

полицию.

— Представьте себе — всю ночь я не могла сомкнуть глаз, всю ночь он метался по комнате как угорелый; он говорил, говорил, она говорила, оба вместе говорили, потом вдруг такая тишина, как будто оба умерли, а потом опять сначала, я вся дрожала, вдруг он выскочит в окно или вот-вот раздастся выстрел, добром же это не может кончиться.

Я старался успокоить ее, рассказав в чем дело, и объясняя, что не так-то просто разорвать многолетние супружеские отношения.

— Это я понимаю, — волновалась она, — но не так же это делается. Если полюбовно не могут разделиться, ведь есть же суд. И почему же нельзя днем поговорить, а всю ночь? Теперь я уже вижу, почему оба они такие худые, бледные, посмотришь на них — волосы дыбом встают. И представьте себе — ведь нижние жильцы могут возбудить против меня судебный процесс за причиняемое им беспокойство.

Это последнее опасение было более реальным: против моего приятеля, спокойно и замкнуто жившего с женой и взрослым сыном, нижний жилец такой процесс возбудил и, хоть они завели войлочные туфли, затаскал его по судам.

Проживание беженцев в пансионах, обычно содержавшихся вдовами или разведенными, не раз завершалось браками с хозяйками, и я знаю два резко противоречивых примера, тоже вопиющих против утверждения национальных и расовых особенностей. В одном случае профессор-кооператор с весьма популярным европейским именем женился на миловидной радушной блондинке, любовно за ним ухаживавшей (у профессора было болезненное ослабление зрения). Но ставши "фрау профессор" (чем демонстративно гордилась), она превра-

тилась в настоящую фурию, била несчастного мужа по щекам, со скандалами захватывала в редакциях причитающиеся ему гонорары; а в другом случае — приветливая, привлекательная наружность разведенной полковницы была оболочкой прекрасного чуткого сердца, и она зажила в счастливом, пренебрегавшем материальными трудностями браке с приятелем моим, у которого легкомыслие, беззаботность, широкий размах должны были бы служить грозным противопоказанием традиционному представлению о национальном характере германской женщины.

Война и разруха задержали на несколько лет строительство Берлина, и в помещениях ощущался большой недостаток, вследствие чего появилось специальное законодательство и учрежден правительственный контроль над договорами о найме. Наем отдельных комнат регулированию не подлежал, но договор о найме квартиры вступал в силу лишь по утверждении его "жилотделом". Богачей это стеснительное законодательство не касалось, они и в Берлине облюбовали лучшие отели. Когда на меня возложили сбор средств для учреждения русской библиотеки-читальни, я добыл эти средства, не выходя за пределы роскошной гостиницы Адлон, в лучших аппартаментах которой разместилось несколько банкиров, биржевиков.

Война показала, что напрасно взяточничество и протекция считались государственной особенностью России: где только ни появлялись исключительные законы, тотчас к ним прокладывались обходные тропинки, и в тем большем количестве, чем законы были сложней и стеснительней. У Улльштейна был по этой части замечательный ходок — профессор-социолог, видный сотрудник одной из газет,

с помощью которого мы и получили отличную барскую, со старинной мебелью, очень уютную квартиру, сохранявшую неприятный след войны: газовый аппарат в ванной был опутан проволокой и запломбирован. Квартира принадлежала представителям древнего дворянства, успевшим на неуклонном пути разорения породниться с Улльштейном. У нас обедневшие дворяне часто женились на девицах из именитых купеческих семей, но я не помню ни одного случая свойства с богатыми евреями, даже немногими приобретшими дворянство. Здесь же смешанные браки были явлением весьма распространенным, вероятно, благодаря далеко зашедшей ассимиляции, споспешествуемой полным гражданским равноправием. Тем страшней оказались последствия, когда гитлеровский режим воскресил казни египетские — обеспечение арийского владычества потребовало грандиозной "чистки" до самых верхов управления, и среди строго патриотических организаций вроде "стальной каски", и даже в рядах самой национал-социалистической партии. За всем этим Герингу все же пришлось присвоить себе право в отдельных сомнительных случаях декретировать принадлежность к арийству.

Зажили мы в квартире своей очень шумно, шумней да и беспорядочней чем в Петербурге, потому что появилась и молодежь — товарки и товарищи сыновей, поступивших в Берлинский университет.

Художники, актеры, певцы, музыканты были завсегдатаями (особенно с появлением "Руля"), выступления их привлекали полон дом гостей и вносили бурное веселье. Несравненной мастерицей по этой части была пленительная, талантливая Оль-

га Гзовская со своим партнером Гайдаровым. У нас установились дружеские отношения, она даже называла себя родственницей на том основании, что сестра ее была замужем за моим дальним свойственником, но дружба эта непрерывно подвергалась острым испытаниям. Слишком заботясь о своей карьере, она поставила себя в положение ”ласкового теля”, склоняясь то к эмигрантской связке, то к советской (даже выступала на вечере у полпреда Крестинского).

Несколько раз в разных составах приезжал незабываемый Художественный театр, вызывая сладчайшие трепетные воспоминания. Во время Октябрьского переворота главная часть труппы (без Станиславского) гастролировала на Кавказе и, отрезанная гражданской войной от Москвы, отправилась в турне по Европе, а потом появился Станиславский с другой частью труппы, и уже после совместных гастролей с ним уехали обратно в Россию почти все.

Из оставшихся в эмиграции лишь двум-трем (Массалитинову в Софии, Болеславскому в Голливуде) удалось занять на иностранной сцене и в кино видное положение.

Два резких штриха сохранились в памяти в связи с устроенным чествованием гастролеров. Образованный для этого комитет поручил выступить с приветственными речами Набокову и мне. Накануне Набоков просил, во избежание повторений, ознакомить его с сущностью моей речи и пришел в ужас от намерения взять темой ”Tu l’as voulu Georges Dandin” — в частности, революция, совершенная москвичами в театре, дерзкое разрушение традиций, столь восторженно встреченное, было одной из зарниц, предвещавших приближение бури.

Набоков так настойчиво просил не заострять этой темы, что я должен был уступить.

Другое чествование, по инициативе немцев, состоялось в Государственном драматическом театре уже незадолго до возвращения труппы в Россию, и передо мной до сих пор стоит фигура артиста Подгорного, который как бы с нарочито подчеркиваемым раздражением говорил об эмиграции, поставившей себя вне жизни, такой интересной там, на родине. А было это еще время сурового военного коммунизма, и тем более гнетущее впечатление слова его произвели...

И еще я нахожу в старых заметках запись, характерную для тогдашних настроений: ''На вечере Союза иностранной прессы я впервые оказался в одном обществе с Крестинским. Говорят — он еще больше близорук, нежели я, и этим вероятно объясняется то, что мы с ним на этом вечере то и дело сталкивались лицом к лицу. Странно — я чувствовал не негодование, как бы полагалось, а скорее сожаление; он имел вид смущенный, и моя экспансивность взыграла и стала подсказывать еретические мысли: почему не поговорить с ним начистоту, не выяснить безнадежность позиции коммунистов? Конечно, он не мог бы быть откровенным, но несомненно, что с ним легче разговаривать, чем с беженцами-социалистами, превратившимися в тетеревов на току.

Ни за что не решился бы я высказать эти мысли вслух, чтобы не выслушать лишний раз упрека в детской наивности, которому не мог бы противопоставить логического довода и считал бы упрек вполне заслуженным. А между тем в этом чувстве сожаления было ведь нечто кассандровское, и легко можно себе представить, что такое же чувство по

отношению к самому себе охватило Крестинского на поистине "страшном суде" над ним. За это говорит робкая бессильная попытка его прорваться сквозь непроницаемую жуткую бутафорию инсценированного Сталиным суда и отвергнуть "приглашение на казнь".

Подлинной Кассандрой оказался В.А.Маклаков: в редакцию "Архива русской революции" доставлено было обширное письмо его к приехавшему из Москвы бывшему помощнику его Мебелю, скоропостижно скончавшемуся в Наугейме от болезни сердца. В письме этом от 1923 года Маклаков, между прочим, предсказал, что в процессе эволюции большевистского режима, в которую "я совершенно верю... одни большевики отомстят другим за все то зло, которое они все вместе успели сделать России".

Революционные прецеденты исключали предположение, что ликвидация "старой гвардии" будет совершена из собственной же среды, одним из наименее видных ее представителей. Больше соответствовало бы шаблону, если бы гвардия, во главе со Сталиным, погибла, например, от заговора Тухачевского... Но довлеет дневи злоба его. Как трудно удержаться от вылазок из хронологических окопов...

Излишний, по нашим потребностям, простор квартиры давал приятную возможность приглашать приезжих из других пунктов рассеяния друзей останавливаться у нас, и долгие вечерние беседы, после напряженной работы, доставляли большую отраду. Вспоминаю аскетически строгого, с добрейшим сердцем, П.И.Новгородцева; очаровательного, беззаветно доверяющего жизни А.А.Кизевет-

тера; любящих и преданных друзей М.И.Ганфмана и А.С.Изгоева; брызжущего талантом и образованием Ф.А.Степуна, жонглировавшего афоризмами и блиставшего тонким остроумием; гениального С.С.Прокофьева. Сколько из них уже перешло земной предел и сколько же у нас могил, которым и поклониться нельзя, по всему свету разбросаны они...

Редкими гостями были у нас немцы, в особенности дамы германские. На первых порах жгучей темой разговоров была Россия — те из них, кто бывал в России до войны, равно как и бывшие военнопленные (а таких было много), говорили о нашей родине с восторгом, только о том и мечтали, чтобы туда вернуться, и такое отношение неотразимо подкупало и вызывало интерес и оживление. Затем неизменно следовал вопрос: "А куда же Вы девали свое имущество, обстановку?" Сам по себе вполне понятный, этот вопрос застигал нас как бы врасплох: кто размышлял об обстановке, когда покидал родину, тем более среди ужасов эвакуации, — а теперь об исчезнувшем имуществе и думать забыли. Требовалось некоторое напряжение, чтобы встряхнуть воспоминания и, может быть, вследствие замедления, хотя и мимолетного, — ответ вызывал явное недоверие.

— Ничего не сделали, бросили на произвол судьбы.

— Добровольно отдали? Да я лег бы на пороге, и иначе, как перешагнув через мой труп, никто моим имуществом не овладел бы.

Так возражали собеседники с видом культурного превосходства над российской мягкотелостью. А на одном файф-о-клоке в роскошной квартире богатого беженца на аристократической Тиргар-

тенштрассе, в разгаре обычной беззаботной болтовни многочисленных гостей, доктор Вольф вдруг воскликнул:

— Не понимаю! Что это за категория эмигранты? Почему и для чего вы здесь?

Впоследствии несомненно и немцы поняли, что такое эмигранты и как просто бросить на произвол судьбы свое имущество.

На первых порах нашего пребывания в Берлине такие темы дебатировались на все лады. Но когда с течением времени они были исчерпаны, то сразу же выяснилось, что других точек соприкосновения, общих волнующих интересов нет — остались только более или менее пышно размалеванные трафареты, по шпаргалке заученные фразы и обороты, заранее знаешь, о чем спросят и как нужно ответить, и язык прилипал к гортани.

Простых дружеских или приятельских отношений мне ни с кем установить не удавалось. Бесспорно, мешало этому и плохое знание языка, да и возраст был уже не тот, чтобы плести новые интимные нити. Но верно и то, что хождение по гостям связано для немцев с каким-нибудь торжественным поводом, что это больше обряд, нежели потребность в общении, что им совсем чуждо наше "на огонек", к которому тянет тревога и тоска. А попробуйте-ка передать по-немецки наше жалобное выражение: отвести душу... Уж если захотелось поговорить, то единственный путь ведет в кафе (у каждого есть свое Stammkafe и даже Stammtisch), пропитанные смесью запаха духов и табачного дыма и оглушающие наглым завыванием джаз-банда и переливающимся гулом голосов.

Деятельное участие приняла квартира наша и в общественной жизни беженцев. Вернее сказать — не

квартира, а квартиры. Из первой нам пришлось через год выселиться — она понадобилась самим хозяевам, которые из деревни вернулись на жительство в Берлин. Вновь искать меблированную квартиру уже не хотелось, и жена нашла мелкого фабриканта, который согласился передать нам свой контракт с домохозяином, с тем, однако, чтобы мы приобрели и всю обстановку квартиры. Таким образом, мы получили прочную оседлость, вроде того как на родине — со всей обстановкой, а кстати и полицай-президиум отменил ограничение пребывания, предоставив нам разрешение остаться в Германии на неопределенное время. В этой квартире мы прожили около десяти лет, до смерти жены, но так до конца обстановка и осталась чуждой, чужой, неосвоенной, не было ни малейшей привязанности к вещам, никаких воспоминаний, никакого отзвука они не вызывали; совсем как мертвые, безжизненно, тупо молчали, и познакомился я с ними ближе уже только перед аукционом, когда оценщики, составляя подробную опись, заставляли присматриваться к каждой вещи в отдельности и спрашивали мнение об их стоимости.

В этих-то квартирах наших происходило бесчисленное количество всяких подготовительных совещаний, заседаний правлений различных организаций, третейских судов, литературных чтений... Одно такое было устроено Алексеем Толстым, собиравшим последнюю дань с эмиграции перед скачком к большевикам, и Борисом Пильняком, насквозь проникнутым убеждением, что деньги не пахнут.

Что ни день, появлялись все новые организации. В бухте очаровательного Аркашона, где мы

провели два незабываемых лета, водятся моллюски, называемые couteaux — они действительно совсем похожи на перочинный ножик. Во время отлива моллюски прячутся во влажном песке, а если посыпать его солью, они, принимая это за начало прилива, приносящего соленую воду, выскакивают на поверхность. Эти моллюски назойливо вспоминались при виде все новых и новых, появлявшихся на свет Божий организаций. Если, ввиду материальной необеспеченности большинства и усложнения борьбы за существование на чужбине, вполне естественно и практически целесообразно было создание профессиональных объединений — литераторов, переводчиков, адвокатов, врачей, инженеров, актеров, художников, учителей, академиков (т.е. преподавателей высших учебных заведений), судебных деятелей, — всех не берусь перечислить — и всяких однокашников (лицеистов, правоведов) и землячеств (московское, харьковское, одесское), — то не меньше возникло объединений с более или менее заметной политической окраской — парламентский комитет (бывшие члены Государственной думы и Государственного совета), союз дворян, союз владельцев недвижимостей, национальный союз, союз монархистов, братство Русской Правды и т.д.

И красно, и пестро, но пустоцветом, расцвели на неблагоприятной чужой почве все старые политические партии. Говорю — пестро, потому что они окрашивались в самые причудливые цвета. Уже в России революция отпочковала от эсеров группу "левых", недолго деливших с большевиками власть. Превратившись из властителей в эмигрантов, они все же продолжали строго охранять свою самобытность, но — лиха беда начало — почко-

вание продолжалось и партия разделилась на несколько групп, резко враждующих и ожесточенно споривших между собой и с социал-демократами из-за права представительства во втором интернационале.

Примерно то же самое было и у эсдеков — не думаю, чтобы в Берлине их было больше двух десятков и столько же было разных оттенков мнений на столбцах их печатного органа. В сущности это было вполне естественно и должно было быть благоприятно: априори должно было быть ясно, что отвердевшие партийные шаблоны не годятся для новых невиданных явлений, которые в изобилии сыпались из рога революции. Нужно бы поэтому зорко и чутко присматриваться и прислушиваться к капризному разброду суждений, чтобы из разных, порой даже неуловимых оттенков отлить новые лекала, спаять на месте раскрошенного революцией новое communis opinio. Где уж, что уж! И забавно было, что именно те, кто громко кичились патентом на приятие и апологию революции, были безнадежно глухи к трагическому зову ее: полюби меня черненькой, а беленькой меня всякий полюбит. И ломая копья в честь прекрасной незнакомки, сердито брюзжали на ее невоспитанность и неуважение к историческим шаблонам.

Само собой разумеется, что и конституционно-демократическая партия не могла оставаться в стороне от воздействия революционной катастрофы. Напротив, приняв горячее участие, особенно на юге, в гражданской войне, в пылу борьбы, рука об руку с наиболее реакционными элементами, против которых всегда была в оппозиции, партия не могла сохранить верность своей идеологии.

”Кличка кадеты, — писал Милюков в ”Послед-

них Новостях", — во время войны ассоциировалась в народном представлении с идеями и актами, глубоко чуждыми прошлому, чуждыми истинному демократизму "Партии народной свободы".

Одним из пятен деникинского режима считался пресловутый Осваг (Осведомительное агентство), во главе которого стоял член центрального комитета партии, умный и талантливый К.Н.Соколов, бывший член редакции "Речи". (Его смерть от паралича в расцвете лет, вскоре после крушения Деникина, не была ли вызвана тяжкими душевными волнениями?)

В рассеянии образовались кадетские группы в Константинополе, в Белграде, Софии, Берлине, Париже, утратившие общий язык и резко между собой различавшиеся в оценке и отношении к революции — от тяготения к реставрации в Константинополе и Софии и до бесцеремонного суетливового отречения от белого движения — отречения, провозглашенного самым активным идейным участником его. В Париже совершилось и почкование, выделилась, под главенством Милюкова, особая группа, принявшая новое название "Демократической группы партии Народной свободы".

Мне казалось, что при столь постыдном разброде — даже и независимо от радикального изменения обстановки, в значительной мере содействовавшей этому разброду — надлежало, хотя бы из пиетета к сыгранной партией крупной исторической роли, объявить ее распущенной, честь честью похоронить. Я встретил живой отклик у преданного друга Изгоева, и мы решили поставить на очередь это предложение, для чего я и созвал у себя находившихся в Берлине членов центрального комитета и видных деятелей партии. Но опять... где уж,

куда уж. Передо мной лежит протокол совещания, на котором все решительно высказались против нас двух. Мы так формулировали наше предложение: "В настоящее время партии как политического целого, имеющего правильную организацию, определенную программу и ясную тактику, не существует ни в России, ни заграницей. Многие основные идеи партии вошли уже в общее сознание русского народа и стали национальным достоянием. Но партийная программа в целом нуждается в коренном пересмотре отдельных частей, сообразно потребностям потрясенной переворотом страны. Устроение России требует свободного строительства, которое не тормозилось бы мнимыми величинами, утратившими былую силу и сохранившими лишь старые предания и предрассудки и сложную сеть запутанных личных взаимоотношений. Желание открыть дорогу этому новому строительству и помочь ему в меру наших сил и побуждает нас настаивать на открытом признании совершившихся фактов, отбросив в сторону вопросы личного и партийного самолюбия".

Нам отвечали, что фактически партия действительно перестала существовать, что она разбилась, по крайней мере, на четыре группы, которые едва ли можно склеить; что люди, называющие себя членами одной партии и радикально расходящиеся по всем серьезным вопросам, являют зрелище очень тяжелое; что "мнимая величина" (опять фикция) кое в чем мешает (по мнению других, ни в чем не мешает), но никого не связывает и т.п. Мы добились только постановления о том, чтобы составить протокол совещания и разослать представителям партии в других заграничных центрах с просьбой подвергнуть обсуждению выдвинутый на очередь

вопрос. Но это послужило лишь к вящему нашему поражению: все группы единогласно высказались отрицательно — даже и совсем отделившаяся от партии упомянутая парижская ячейка цеплялась за выцветшую от революционных лучей вывеску, и трудно сказать, была ли здесь бездумная рутина или чувство бессилия создать нечто новое и опасение остаться совсем беспризорными, или, наконец, глубоко затаившийся расчет: а вдруг! чем черт не шутит, он и кадетов может воскресить к прежней жизни! Вероятно, тут всего было понемножку.

Ну а разве не забавно, что такой тайный расчет довольно явно сквозил даже и в организациях, которые на политическую роль никак не могли претендовать. Вспоминаю первое собрание, созванное для учреждения библиотеки-читальни, в облюбованном кафе Лейтхауз на Нюрнбергерштрассе. Если бы стены этого кафе впитали выспренные речи и шепот сплетаемых интриг и подсиживаний, страстные споры, взрывы глухой вражды и ненависти, гул избирательной борьбы за место в составе правления и торжество "победителей", — если бы стены все это впитали и теперь зазвучали отголоском, — никто бы не поверил ушам своим.

Вероятно, из благодарности за то, что удалось собрать нужные для открытия библиотеки средства, меня предложили в председатели Правления, но собрание прокатило на вороных. Сторонники мои были очень сконфужены и объясняли поражение опасением поставить кадета на посту, который, чего доброго, может приобрести значение "политического центра" эмиграции. Но, прибавляли они, ведь Вы и сами виноваты: противники сорганизовались и вели усиленную агитацию, а Вы и пальцем о палец не ударили, чтобы обеспечить наш успех.

Такие же претензии питало и упомянутое Общество 16-го года, оно тоже убеждало меня стать во главе, а когда я доказывал, что не хватает времени и что целесообразнее возглавить его человеку, который мог бы всецело отдаться делу благотворения, — мне настойчиво возражали, что Обществу предстоит сыграть видную роль в качестве представителя эмиграции и что посему председателем должен быть "общественный деятель".

Председателем я все-таки был избран в двух организациях. В Америке, переживавшей период фиктивного процветания, проявлялся большой интерес к русским беженцам, и образовавшийся, под председательством бывшего командующего киевским военным округом Оберучева, комитет собирал значительные суммы, которые и рассылал во все столицы для оказания помощи писателям и ученым. Для правильного распределения этих сумм, приобретавших вследствие обесценения германской валюты все более существенное значение, и был образован, как мы его прозвали, "Американский фонд", причем я настоял, чтобы, по примеру петербургского Литературного фонда, члены комитета не вправе были пользоваться пособиями из средств фонда. При все растущей беженской нужде, стучавшейся почти во все двери, такое самоограничение не раз лишало фонд участия людей, очень желательных и полезных, но мне представлялось необходимым оберечь фонд в нездоровой беженской атмосфере от нареканий, что рука руку моет, что "своим" оказывается предпочтение, да и то сказать — порадеть родному человечку — это ведь не только фамусовская слабость.

На почве упомянутого ограничения и вышло обидное недоразумение: один слишком расторол-

ный журналист ухитрился получить за нашей спиной, непосредственно из Америки, крупное пособие, значительно превышавшее обычные выдачи, и когда мы потребовали его выхода из состава фонда, он взъерепенился, ссылаясь на свои ”общественные заслуги”. (Ничто, кажется, не приводило в такое бешенство, как расцветшее в эмиграции использование общественных заслуг в качестве индульгенции). Это, впрочем, был единственный неприятный инцидент, в общем же фонд был самой спокойной организацией, без вспышек ”принципиальных” вопросов, многим он помог пережить трудные минуты, просуществовал свыше тринадцати лет и был, уже при гитлеровском режиме, ”надлежащим образом” ликвидирован.

Совсем иначе обстояли дела в другой организации — Союзе русских журналистов и писателей в Германии — тоже почтившей меня избранием в председатели. Уже в 1930 году, когда избрание Я.Л.Рубинштейна преемником Гулькевича по делам беженцев при Лиге Наций вызвало злобную травлю в некоторых эмигрантских газетах и протестующие резолюции разных обществ, когда и в еврейской интеллигентской среде (в гитлеровском Берлине, но не в Париже), стали раздаваться осуждающие Рубинштейна голоса, задним числом возникли у меня сомнения, следовало ли колоть глаза этим председательством, давать лишний толчок бурно пробужденному громом революции антисемитизму.

В Белграде, где сосредоточились наиболее крайние элементы, Карловацкий синод, при деятельном участии прославившегося во время войны генерала Батюшина, запретил служить панихиды по ”жиду Набокову”. Но в Берлине этот водораздел еще не

обозначился, пущена была, правда, в ход прибаутка: "Мир стал тесен, всюду Гессен", но без специфических намеков. В отношении меня антисемитизм, кажется, впервые проявился лишь несколько лет спустя, когда был объявлен публичный доклад о десятилетии революции, и я получил анонимные предупреждения, что мне выступить не позволят. Когда же с женой и сыновьями мы сели в автомобиль, чтобы ехать в зал, то увидели на углу другую машину, которая и сопровождала нас, то обгоняя, то следуя за нашей, причем сидевшие в ней несколько молодцов грозно размахивали палками и что-то выкрикивали. Но на этом угроза и оборвалась — доклад я сделал беспрепятственно. И еще позже, уже при гитлеровском режиме, поднявшем на поверхность беженский шлак в количестве, какого никто и не подозревал, — когда объявлено было чествование Бунина, получившего Нобелевскую премию, — общественный деятель, издатель и собственник больших гаражей в Берлине Н.Е.Парамонов по-приятельски рекомендовал воздержаться от произнесения речи, так как "в шоферских кругах" решено ни за что не допустить выступлений "жида и полу-жида" (под последним подразумевался Сирин, женатый на еврейке). Но и на этот раз, считая, что положеяие обязывает, что нельзя дать хулиганству торжествовать, мы не склонились перед угрозой и поступили правильно — угроза не была приведена в исполнение.

Вначале Союз поглощал много времени и энергии, очень оживленно проходили и общие собрания, и заседания правления, весьма удачны были и публичные выступления. Первое посвящено было памяти Толстого, в день десятилетия смерти, и собрало полный зал — было немало видных немцев.

Горячо приветствовал и поздравлял с успехом статс-секретарь министерства барон фон Мальцан, годом позже нахрапом заключивший рапалльский договор. И на сцене после отличной речи Набокова, письменного приветствия Гауптмана, наряду с русскими артистами, разыгравшими действие из ''Плодов просвещения'', выступил знаменитый актер Александр Моисси.

Не могу вспомнить, что он читал тогда, но зато как врезался в память разговор в антракте за кулисами. Моисси бывал в России, радостно вспоминал об энтузиазме, которым встречены были его гастроли в Петербурге и Москве в труппе Рейгарда, и с большим интересом расспрашивал об отношении моем к революции и, в особенности, к ее вождям. Театральные кулисы плохо располагали к серьезному разговору и, пытаясь отделаться общими замечаниями, я сказал, что отношение к революции определяется тем или другим ответом на знаменитый вопрос, поставленный Иваном Карамазовым брату Алеше: ''Согласился бы ты возвести здание судьбы человеческой на неоправданной крови?'' И что переступить так дерзко и уверенно через этот роковой для человечества вопрос Ленину помогла его мозговая болезнь.

— Может быть, Вы и правы, но и неоправданная кровь, да еще после такой страшной войны, высыхает, смывается и забывается, а история интересуется только результатами кровопускания, и, конечно, Ленину и Троцкому, как Дантону и Марату, будут воздвигнуты памятники. — К удивлению моему, Моисси оказался знаком с известным стихотворением Некрасова ''Железная дорога''. — Покачиваясь на прекрасных пульмановских рессорах, ваш поэт вздумал пугать мальчика большими жерт-

вами, которых потребовала постройка железной дороги. Хорошо, что он избрал себе мальчика бессловесного, — зубастому не трудно было бы ответить вопросом, предпочел ли бы он попрежнему трястись в телеге".

Если не ошибаюсь, Моисси умер до гитлеровского переворота, не то и ему можно было бы привести в назидание поговорку: чужую беду руками разведу, к своей ума не приложу.

Весьма удачным было также чествование памяти Достоевского в просторном зале филармонии, где после моего вступительного слова говорили профессор Новгородцев и проф. Гетч, кончивший свою обстоятельную речь несколькими фразами по-русски, что вызвало бурные аплодисменты переполненного зала. Но и сам оратор был в полном восторге и пока говорил Новгородцев все шептал: "А кто эта дама, вон в том ряду, совсем Татьяна. Сколько здесь красоты и изящества".

Возвращаясь к публичным выступлениям Союза, вспоминаю, как тягостна была их подготовка, особенно, если требовалось участие актеров. Это актерское самолюбование и тщеславие, кокетливо скрываемое под бессодержательными заученными фразами, необходимость отвечать на такие фразы, делая вид, что не замечаешь проглядывающих сквозь продырявленную словесную ткань мелкой зависти и ревности, были просто мучительны, — сам себе становился противен. Может быть, значение совершенной Станиславским революции театра и заключается в подчинении личности интересам целого, и упомянутая тема моей приветственной речи, так смутившая Набокова, била гораздо даль-

ше, чем я дерзал метить. Однако как мы с Набоковым восхищались Художественным театром, какой радостный сердечный трепет вызывал блеск московских зарниц. Как можно было не понимать их значения? А ведь уже в 1905 году Вячеслав Иванов пророчески определил кризис индивидуализма и предсказал "органическую эпоху", которая установится в России.

Возня с актерами была еще ничто в сравнении с устройством балов, служивших главным, а потом и единственным источником кассы Союза. По уставу, члены обязаны были ежемесячно платить взносы, и я упорно настаивал на соблюдении этого правила, не столько даже для увеличения материальных возможностей, сколько для поддержания моральной связи с Союзом. Но все усилия разбивались — больше об инертность, чем о денежные затруднения сделать взнос. А балы давали значительный (с годами неизменно уменьшавшийся) приток средств. Однако устройство их и появление в роли хозяина, прием "почетных" гостей — это было действительно непереносимо. Здесь, на реках вавилонских, щепетильное соблюдение условного ритуала, пренебрежительные ссылки на высокие связи ("ну, о полицай-президенте не беспокойтесь, я с ним встречаюсь у имярека и он все для меня сделает"), эта вызывающая уверенность, что поддельная краска ланит останавливает поток времени; убогая роскошь наряда; почетные гости с покровительственной улыбкой произносящие неизменно одну и ту же фразу: "Ach, wie nett!"; богачи, воспроизводящие жесты "широкого русского размаха" — зачерпнет рукой из томбольного колеса штук двадцать билетов по 50 пфеннигов и раздаст их окружающим знакомым дамам; эта

страстная агитация при выборах королевы красоты — к чему перечислять: каждое слово, каждая ухватка, каждое движение, — все было неестественно, деревянно, угловато, словно безответно подчинялось, как в кукольном театре, дергаемой веревочке.

Неотступно волновал вопрос: как они себя чувствуют, что переживают, когда, окончив представление, возвращаются домой и, сняв потрепанные доспехи, остаются нагишом, наедине с собой? Как и о чем сами с собой разговаривают? Неужели и тут сомнение, скепсис не вступают в права свои, или же без остатка, от головы до пят из людей они превратились в актеров и такими остаются перед самими собой? Правильно сказано, что язык мой враг мой. Но совсем не в том смысле, что он лишнее сболтнет. Нет — это пустяки. А в том ужас, что важнейшее преимущество человека, сделавшего его царем природы, извращается в его проклятие, что язык дает возможность — как райский змей соблазняет — заменить теплое живое чувство суррогатом — холодным мертвым словом, и чем успешнее соблазн одолевает, тем полнее чувства атрофируются. Так и живут с эрзацем чувств, как с накладными волосами или искусственной челюстью.

В связи с отвратительным самочувствием, испытанным на первом балу, я выговорил себе освобождение от всякого участия в подготовке и от присутствия на таких сборищах. Но так как это лишь формально освобождало от ответственности, которую все более невтерпеж становилось нести, я воспользовался подвернувшимся поводом, не помню каким, чтобы сложить с себя обязанности председателя. Но с другой стороны, я никогда не скрывал от себя, что надлежащему выполнению

роли председателя мне мешает нетерпеливость, в особенности к самодовлеющему многоречию, уверенность в правильности своей позиции, антипатия к компромиссам, а в последнее время и физический недостаток — ослабление слуха. Так или иначе — коллеги меня не удерживали.

К сожалению, дела Союза с течением времени шли все хуже: председатели непрерывно сменялись, финансовое положение стало весьма беспорядочным, общие собрания протекали чрезвычайно бурно, с грубой бранью, вызовами на дуэль, угрозами рукоприкладства, и это заставляло упорствовать в нежелании уступить неоднократным просьбам ко мне взять снова бразды правления. Но когда явившаяся официальная депутация (впервые я почувствовал себя "маститым" и воспринял это как мало приятное напоминание о возрасте) поставила дилемму ликвидации Союза в случае моего отказа председательствовать, я должен был принять на себя эту обязанность, более соответственно было бы сказать — повинность, и выполнять ее уже вплоть до отъезда в Париж, даже и при гитлеровском режиме, когда все беженские организации (за исключением Союза русских евреев), одни — волнуясь и спеша, другие — из-под палки, приспособились к "арийскому" параграфу (Gleichschaltung) — термин, установленный национал-социалистической революцией.

Не помогло и письменное заявление о сложении с себя обязанностей — под разными предлогами рассмотрение его все откладывалось. Но в это время от прежнего многочисленного состава Союза, блиставшего яркими литературными именами (перебравшимися теперь из Берлина в Париж), остались — качественно и количественно — только по-

скребки, среди коих по пальцам нетрудно было перечесть настоящих авторов.

Быстрое размножение беженских организаций дало себя знать серьезными моральными и практическими неудобствами. Каждая в отдельности искала и более или менее успешно устанавливала связи с депутатами рейхстага, членами правительства и старалась через них воздействовать в желательном направлении на политику по отношению к беженцам и к советской власти. А так как желательные направления расходились широким веером, то нередко случалось, к великому конфузу, слышать от немцев:

— Но ради Бога, я уже ничего не понимаю. Ведь имярек вчера доказывал мне совершенно противоположное. Договоритесь же, наконец, между собой, господа мои.

Другим неудобством была неизбежная (при отсутствии предварительного сговора) путаница при устройстве балов: число дам-патронесс, налаживавших буфет, лотерею и т.д. и собиравших дань продажей входных билетов, было ограничено, да еще постепенно убывающим был круг лиц, податливых до веселья в пользу голодных беженцев. Требовались определенные промежутки между балами, чтобы не набить оскомины. Поэтому мысль о координации работы отдельных организаций стала все громче и громче высказываться, встречала все больше и больше сочувствия. Но лишь только дозрела до осуществления, выразилась, увы, в оформлении водораздела между различно настроенными эмигрантами. Сразу же образовалось два объединения — в одно входило одиннадцать организаций, в другое — четырнадцать. Позже, в Париже, ставшем

центром эмиграции, и отдельные профессиональные союзы — чуть что не все — разделились на два: два адвокатских, два литературных, два академических и т.д., и мне почему-то всегда вспоминался бреттерский спор Соленого с Тузенбахом в "Трех сестрах", когда Соленый задиристо твердит: "В Москве два университета".

Образовавшиеся объединения можно именовать и характеризовать различно и все же в общем довольно точно: одно — дворянское, другое — разночинное, одно — реставрационное, другое — отрицавшее возврат к прошлому. Каждое объединение избирало своих представителей в центральный орган, включавший, кроме них, еще главу русской делегации, ведавшей выдачей паспортов беженцам, и представителя Красного Креста. А так как число представителей от Объединений зависело от числа входящих в них организаций, то началось ристалище, возникали все новые организации, требуемые, как мертвые души Чичикову, только для счета, но ничем жизнедеятельности своей не проявляющие.

После смерти Набокова представительство разночинных организаций выпало на мою долю, и с каким тяжелым чувством я всегда отправлялся на заседания "центра", наперед твердо зная, что, о чем бы ни зашел разговор, какой бы вопрос ни был на очереди, ничего, кроме глухой вражды, ядовитых намеков и пустого упрямства не встречу. Темы заседаний большей частью, прямо или косвенно, связаны были с оценкой происходящих в России событий, и основное расхождение таилось в злобном нежелании отделить в этой оценке большевиков от родины.

В постоянных спорах и перекорах центральный орган как-то незаметно растаял и фактически перестал существовать. Новый толчок объединению дал удачно придуманный "День русской культуры", приуроченный ко дню рождения Пушкина — 26 мая (6 июня). Программа празднования обсуждалась и расходы по устройству распределялись по добровольной раскладке между всеми организациями — их уже насчитывалось что-то около пятидесяти, но и тут вскоре часть отделилась, считая недостойным делать символом русской культуры имя Пушкина, ввиду небезупречности его "арийства", и устраивала отдельный праздник 15-28 июля, в день рождения Св. Владимира.

Наконец, уже при гитлеровском режиме объединились под флагом "национальных" двадцать две организации, но жизнеспособность проявлялась исключительно в посылке унизительнейших приветствий Гитлеру, что и заставило меня вторично сложить с себя звание председателя, а С.Д.Боткина, "национальное" объединение возглавлявшего, отблагодарили запрещением вернуться в Германию из Франции, куда он временно уезжал.

Стремление к обособлению приняло совсем курьезные формы, когда группа ученых, писателей и журналистов, высланная советской властью за границу, тоже сплотилась особняком, пытаясь противопоставить себя рядовой эмиграции. Вспоминая об этом в парижской газете, Осоргин брюзжал, что высланным не было устроено торжественной встречи (мы лишь позаботились о приготовлении для них крова) и что зря пропал заряд речей, которые были выработаны в ответ на ожидаемые приветствия. Это было не совсем точно: высланные все же успели устроить раут, на который были пригла-

шены видные представители эмиграции, и смутно припоминается, что какие-то речи — не знаю, те ли именно, что были заготовлены, были все-таки произнесены. Но сплочение надолго не удержалось, и когда фельетон Осоргина был напечатан, высланные уже давно растворились во всех организациях — от одного полюса до другого.

Однако высланные из России оставили в жизни беженства след очень яркий. Точнее сказать, это относится лишь к высланным профессорам. (Следует оговориться, что, подобно генералам, и профессоров в зарубежье появилось очень много новых, и Милюков однажды сострил, что, по-видимому, он является последним русским приват-доцентом, — все другие, какое бы отдаленное касательство не имели к высшим учебным заведениям, сразу все превратились в профессоров и стали в ряд с крупными русскими учеными-профессорами). Высланные профессора задумали основать "Русский Научный Институт в Берлине" — учреждение научное и учебное одновременно, и представителем своим избрали бывшего профессора Московского Технического Училища В.И.Ясинского.

На первое, состоявшееся в нашей квартире заседание по вопросу об основании Русского Научного Института я пригласил, кроме Ясинского, еще несколько профессоров и несколько немцев — вспоминаю проф. Гетча, доктора Ф. Улльштейна, Бернгардта, Шлезингера, доктора Гана. Немцы — все, как один — отнеслись к предложенному плану с исключительным сочувствием и обещали всяческую поддержку, которую и оказывали весьма щедро. Вначале были получены некоторые суммы и из Америки (если не ошибаюсь, от еврейской организации "Джойнт"), но в общем можно без на-

тяжки сказать, что Институт существовал на средства — прямо и косвенно — германского казначейства, причем вся тяжесть переговоров с немцами падала на Ясинского, мучительно справлявшегося с немецким языком, что еще сильнее подчеркивало настойчивость его, поистине беспримерную. Я ахнул, когда однажды он рассказал, что по поводу затяжек в получении очередной дотации заявил своим давальцам:

— Я считал, что имею дело с порядочными людьми.

— Что же они Вам на это ответили?

— А ничего. Улыбнулись и обещали ускорить.

Я снова подивился этой государственной дисциплинированности.

Ввиду случайного состава высланных и проживавших в Берлине профессоров, программа Института не могла удовлетворить требованиям правильного систематического преподавания, а, напротив, сама была приспособлена к личному составу. Но и помимо этого, программа совершенно не считалась с резко изменившейся обстановкой и восстановила, хотя и в обрывках, все, как было в университетах, точно ничего не произошло. Даже дипломы окончившим постановлено было выдавать по правилам университетского устава 1885 года. Приведу цитату из статьи того времени, напечатанной в шведском журнале в Гельсингфорсе:

"В Праге, Берлине и других центрах скопления беженцев основаны были университеты для молодежи, конечно, не полные — в зависимости от случайного состава находившихся в данном месте профессоров. А случилось так, что большинство профессоров были юристами, а потому юридичес-

кий факультет доминировал. Факультет по возможности точно воспроизводил старые методы преподавания в расчете на то, что ко времени окончания курса Россия снова откроется, советское законодательство будет ликвидировано и молодежь получит практическую возможность приложить к делу приобретенные ею знания русского гражданского, уголовного, международного права. Любопытно отметить, что параллельно с этим несколько молодых русских профессоров читали лекции о новом советском праве... германским студентам в Берлинском и других университетах. И вот, когда спустя четыре года, появился первый выпуск окончивших курс юридического факультета, — оказалось, что приобретенные знания никакого практического приложения найти не могут, что вообще они в данной обстановке ни к чему не нужны, и тысячи молодых людей остро ощутили, что четыре года пропало у них зря. Тут и началось открытое возмущение "детей" против "отцов", тем более сильное, что борьба за существование приняла подлинно еще небывалые формы — не осталось ни одной самой тяжелой профессии, которой не занялся бы беженец: в угольных копях Болгарии, на земляных работах Югославии, в Иностранном легионе в Африке, смотрителем вулканов на острове Яве... "Я колебался, пишет один из них, между монастырем и Иностранным легионом". Вину дети возлагали на отцов, которые слишком долго засиделись на своих позициях и все держат в своих руках и хотят руководить детьми. Но мы "предпочитаем творить свою жизнь совершенно самостоятельно". На вопрос, что же это за новые пути, ответ дается вполне определенный: "практицизм и резкий национализм". А практицизм означает, что "до человечества нам мало дела. На

первое место поставлена первая ценность: домик, в окнах которого герань и белые занавески. И в этом домике семья, над ним Бог, а стоит домик в России". Резкость национализма объясняется тем, что у отцов была проблема внутреннего совершенствования России, а "перед нами встала необходимость внешней обороны".

Берлинский Институт мог утешиться перед Пражским только тем "преимуществом", что не успел сделать и одного выпуска студентов. Торжественное открытие с речами и приветствиями привлекло в стены нового учебного заведения несколько сот молодых людей, и так приятно было видеть в аудиториях и особенно в коридорах бодрое оживление, вызывавшее чувство умиления перед русским оазисом на чужбине. Но в Праге молодежь была крепко прикована к университету "иждивением" (денежной поддержкой, получаемой от чехословацкого правительства). "Получение диплома высшей школы, — писали мы в "Руле", — равносильно началу голодовки". Отсюда понятное стремление елико возможно затянуть пребывание в университете. У меня сохранилась вырезанная из пражской эмигрантской газеты карикатура, изображающая аудиторию, на партах которой сидят почтенные старцы с лысинами и патриархальными бородами.

В Берлине молодежь такой поддержки не получала, а потому, когда после дефляции беженская масса схлынула во Францию, Институт быстро опустел, и пришлось преобразовать его в учреждение чисто научное по изучению новой российской действительности. Отличным подспорьем для изучения ее служила библиотека Института с большим коли-

чеством получаемых из России газет и журналов. А еще к своей компетенции Институт отнес и присвоение звания доктора и магистра, и на защитах диссертаций, с неподражаемой тщательностью воспроизводивших мельчайшие подробности прежнего университетского церемониала, снова пришлось испытать чувство гнетущей безнадежности от впечатления эрзаца, вступившего на место реальности.

Так и просуществовал Институт до гитлеровского переворота, нашедшего среди эмиграции бурный отклик и пробудившего алчные аппетиты: и у нее появился вождь, с той разницей, что, благодаря гнуснейшим интригам и доносам, вожди феерически сменялись. Первым был некто Пельхау, смиренно, с наполненным продовольственными продуктами чемоданом, стучавшийся в двери более зажиточных беженцев, а теперь с ноздревской развязностью объявивший себя Светозаровым. Как же не вспомнить смачного восклицания Щедрина: "Ноздрев, mon cher, ты ли это? Но почему же ты смотришь таким Лафайетом?"

В полном соответствии находилась и судьба Института — чуть не каждую неделю менялись "комиссары" и, конечно, профессорский состав: прежде всего был удален неарийский элемент, затем последовала чистка и среди арийцев, далее неарийцам был запрещен вход в библиотеку, следующим ограничением было требование и от арийцев удостоверений, что их интерес к русским газетам диктуется желанием и умением бороться с коммунизмом. Несколько раз библиотека переезжала из одного помещения в другое, пока, наконец, не была инкорпорирована в одно из национал-социалистических учреждений, и Институт был

окончательно ликвидирован. Бедняга Ясинский ненадолго пережил кончину Института, и грустное зрелище представляли похороны его в серенький, с нависшими тучами осенний день: в тяжелом неловком молчании опущен был в могилу гроб, никто из коллег не нашел доброго слова на последнее прощание с ним.

Участие в общественной жизни беженцев занимало, после дневной работы в "Слове", большую часть вечеров — случалось и по два заседания в один вечер. Бывало так, что на Ноллендорф-плац, обрамленной многочисленными кафе, в четырех-пяти из них происходили в один и тот же вечер разные беженские собрания и заседания. Редко удавалось поэтому забыться на оперном представлении (квартира наша была как раз напротив Городской оперы) или насладиться концертом филармонического оркестра под управлением изумительных дирижеров. Из пышного, поражающего роскошью красок и оттенков букета, который они составляли, уцелел после гитлеровского переворота один Фуртвенглер — все прочие как неарийцы принесены были в жертву выставленному национал-социалистами уравнительному принципу и должны были рассеяться по всему свету. А когда Фуртвенглер попытался протестовать против применения этого принципа к искусству, Геббельс ответил ему поучением, которое в сущности представляло вариант на вещие слова нашего замечательного сатирика в "Признаках времени": "Где видано, чтобы прекрасная пословица "по Сеньке шапка" прилагалась наоборот? Где найдется пример, чтобы прежде устраивали шапку, а потом прилаживали к ней Сеньку? Оболванить Сеньку по шапке противно даже всем пра-

вилам человеколюбия". Так все неподходящие Гитлеру шапки и были постепенно выброшены за пределы Германии.

Немцы усиленно культивировали русскую музыку: Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский, Стравинский, Прокофьев не сходили с оперных сцен и концертных эстрад. Но вот какая характерная черта всегда поражала и льстила самолюбию: вспоминалось, как тщательны и безупречны были в Мариинском театре — под руководством Направника — постановки Вагнеровских опер. Мне пришлось однажды присутствовать на генеральной репетиции "Тристана и Изольды" под управлением приехавшего из Мюнхена знаменитого дирижера Мука. Он не только не сделал ни одного замечания оркестру и певцам, но весь сиял, и не благодарил, а поздравлял Ершова и Черкасскую и концертмейстера Вальтера. А здесь ни одна русская постановка не обходилась без развесистой клюквы: в "Евгении Онегине" крепостные девушки собирают ягоды в белоснежных чулках и лакированных туфельках, в "Борисе Годунове" — келья Пимена с тремя огромными венецианскими окнами, трон Годунова на высоком помосте с лестницей, с которой он, умирая, с гимнастическим искусством скатывается; крестный ход с хоругвями и стягами, взятыми, должно быть, из бутафории "Аиды", и бегущим чуть не взапуски духовенством и т.д.

Еще обиднее было, когда в этом кощунстве участвовали русские художники и консультанты, к которым немцы охотно обращались. В Мариинском театре был наложен запрет на "Золотого петушка", но я восхищался волшебно-сказочной постановкой этой очаровательной сказки в Москве,

в Большом театре. А здесь, в Берлинской Государственной опере русский художник показал ее иностранцам в форме грубого шутовского гротеска, и в антракте набросилась на меня с растерянным видом супруга одного из Уллыптейнов, страстная музыкантша:

— Ради Бога, объясните мне, что это значит. Я обожаю Римского-Корсакова, но ведь это настоящий балаган.

Возле нас оказался теоретик-музыкант, евразиец Сувчинский, и как компетентного судью я попросил его разъяснить ее недоумения, а он прибегнул к аналогии: как Вагнер, после ряда гениальных творений, снизился до бессмысленного "Парсифаля", так и "Золотой петушок" представляет упадочное старческое творчество Корсакова. Она так и остолбенела.

Зато после концертного выступления Шаляпина в зале той же Оперы один из директоров Уллыптейна, захлебываясь от восторга, говорил мне на другой день:

— Теперь следует разрушить это здание — после Шаляпина никто не достоин в нем выступать.

Для нас, конечно, русские концерты и представления были настоящим праздником, заставлявшим пропускать и заседания. Необычайно радостно было чувствовать себя в переполненном соотечественниками зале, упиваться оживленным самоутверждением русской речи. Живо вспоминаю трепетное ощущение Петербурга, которое я испытал, очутившись близ театра на Шарлоттенштрассе среди русской толпы, двигавшейся плотной стеной...

И кого только мы ни перевидали — и труппу Александринского театра, и троектратные гастроли

Художественного и его "Студии" с Михаилом Чеховым во главе. На чужбине их спектакли производили не столько непосредственное впечатление, сколько вызывали — условным рефлексом — бурю реминисценций о тех мыслях и чувствах, которые пробуждали их представления в Петербурге и Москве, и теперь мучительно воскрешали безвозвратное прошлое, погружали в потонувший Китеж-град. А с каким жгучим нетерпением я отправился смотреть "новые достижения" Мейерхольда, Камерного театра, Габимы, оперетты Немировича-Данченко.

Предварительные рассказы приезжавших из России обычно дышали негодующим или презрительным отрицанием, но мне не верилось, не хотелось верить. Я вспоминал, как в 1899 году бежал из театра, не в состоянии дослушать и одного акта впервые услышанной Вагнеровской оперы "Тристан и Изольда". С детства воспитанному на "итальянщине" и тогда всецело поглощенному "Правом", мне было не до того, было просто непосильно высвободиться из-под тяжелого ярма привычки и открыть простор восприятию новых музыкальных сочетаний, сделать напряжение, чтобы уловить смысл их и значение, поймать их связь и подчинить общему началу. И когда потом, несколько очнувшись от угара "Права", я заставлял себя внимательно вслушиваться в музыку Вагнера, он постепенно превращался в самого близкого композитора.

По отношению к революционным достижениям у меня была даже предвзятость в их пользу: не может же быть, чтобы грандиозность эпохи не отразилась в любом проявлении человеческого духа, в отражение надо лишь спокойнее и вдумчивее всмат-

риваться и стараться разглядеть и расслышать, чем новизна чревата, что она возвещает. Увы, здесь ждало полное разочарование — никаких проблесков самостоятельного творчества, напротив — оно жадно набрасывается на старое, цепко держится за него по слову Хемницеровской басни — это хоть не ново, да благо уж готово, а чтобы скрыть свое бессилие, безжалостно уродует старое, перелицовывая и перекраивая его.

Только разрушительные тенденции отразили ”достижения” в кривом зеркале, и как трудно было подавить чувство омерзения от ухарского озорства Мейерхольда в постановке ”Ревизора”. Я силился утешить себя тем, что это еще только расчистка почвы, в лучшем случае, удобрение ее для предстоящих посевов, и сколько же из таких шумных достижений фактически не только брошено уже на свалку, но и несправедливо облыжно заподозрено в уклоне, измене, предательстве.

«СЛОВО»

Если только теперь я перехожу к издательству "Слово", то лишь потому, что мне хотелось прежде всего разгрузиться от сложных разнообразных впечатлений оседлой беженской жизни, которые я выше беспорядочно набросал. Но конечно "Слово" поглощало большую часть дня и требовало много забот и энергии. Личные отношения с Ульштейнами не оставляли ничего желать, сразу, как-то само собой, произошло разделение труда: они ведали коммерческой, мы — издательской частью. Представителем Ульштейнов был еще совсем молодой человек, австрийский немец, женатый на дочери одного из владельцев фирмы, очень милый и толковый человек. Представленный план издательства мало заслуживал термина программа — он был всеобъемлющ: намечалось и переиздание русских классиков, и современных писателей, и научная литература и переводная. Под фирмой "Слова" вышло несколько собранных А.И.Каминкой томов "Трудов русских ученых заграницей".

Оригинальной частью плана было предложение издавать журнал "Архив русской революции", задачу которого я определял так: "Всякая революция — в том и заключается внутренний смысл ее — ... стремится разбить формы, без которых социальная жизнь, по самому существу своему, обойтись не может и которые тем больше ее стесняют, чем прочней отвердевают и чем дальше от них уходит непрестанно стремящаяся вперед жизнь. Русская революция зашла в этом отношении, пожалуй, дальше, чем все предыдущие, и освободившаяся от всяких форм жизнь безудержно разлилась по всему необъятному пространству великой России... Нет никакой возможности составить себе сколько-нибудь отчетливое представление о событиях и процессах, происходивших за годы революции среди русского народа... Многое из того, что каждому из нас пришлось видеть или в чем участвовать, осталось единственным в своем роде и больше уже нигде не повторилось. Поэтому, если сейчас не записать всего, чему каждый свидетелем был ... это может безнадежно затруднить раскрытие истинного смысла переживаемого нами величайшего исторического перелома. Глазам современного наблюдателя русская действительность представляется закружившейся в каком-то бесовском хаосе, который тяжело удручает и колеблет веру в будущее России. Вряд ли, однако, может подлежать серьезному сомнению, что среди потрясающего хаоса величавый процесс совершает свой вековечный ход, и, как бы причудливо ни рисовались нам события, какими бы случайными они ни казались, как бы бесформенно ни нагромождались, — они могут лишь затемнять, скрыть от нас закономерность совершающегося, могут даже задержать и потрясти ее,

но не в силах опрокинуть и уничтожить ... Если фактопись будет не полной, если многих индивидуальных штрихов будет недоставать, — очевидно, общее представление сложится неправильное, уродливое, и равнодействующая окажется проведенной неверно, смысл перелома останется скрытым навсегда".

План "Архива Русской Революции" был принят, но с оговоркой, чтобы журнал выходил не под фирмой "Слова", а от моего имени (на обложке значится: Архив Русской Революции, издаваемый И.В.Гессеном). Таким образом, большой успех, выпавший на долю "Архива", всецело достался мне. Успехом этим я немало обязан незаменимому активному помощнику, пасынку моему С.И.Штейну. Удалось собрать и напечатать немало ценнейших мемуаров и документов, относящихся и к последним годам царского режима, и к обеим фазам революции, и к гражданской войне. Много лестных похвал довелось выслушать даже от лиц, не жаловавших меня благоволением. А объективным свидетельством серьезного значения "Архива" являются многочисленные ссылки на него, без коих не обходится ни один — русский или иностранный труд, посвященный изучению причин и смысла революции. (Ряд статей перепечатан был в России большевистскими изданиями. Кроме того, успех "Архива" вызвал много подражаний: "Летопись революции", "Историк и Современник", "Белое дело" и др., но они не привлекли большого общественного внимания и быстро прекратили существование.)

Постановка издательства сначала была совсем скромной, помещение отведено было в одном из домов Уллыштейна, к услугам имелась одна секре-

тарша-стенотипистка, печатались книги в типографии Улльштейна. Но настойчивый и энергичный коллега мой Росс вскоре добился, что нас перевели в главное здание, число служащих стало постепенно увеличиваться, часть работ приходилось уже отдавать в крупнейшую лейпцигскую типографию Шпамера, и предприятие зажило на широкую ногу.

Широта плана дала возможность просочиться рутине — переиздано было несколько давно вышедших книг, от которых веяло трупной стариной, изданы гражданские, уголовные и процессуальные законы царского времени, в расчете на сбыт в Польше и балтийских лимитрофах, где они продолжали действовать. В начале наибольший успех имел "Архив" — первый том, выпущенный в четырех тысячах экземпляров, быстро разошелся, потребовалось второе, а затем и третье издание. Но зато с течением времени интерес к прошлому неизменно уменьшался и тираж последних выпусков упал до нескольких сот.

Наиболее прочный сбыт имели классики, на первом месте Пушкин, хотя в зарубежье имелись уже издания полного собрания сочинений и отдельных произведений. Можно было думать, что эмиграция вполне насыщена творениями великого поэта, но интерес к нему все возрастал и, когда к столетию со дня его смерти Пушкинский Комитет в Париже выпустил однотомное дешевое издание, оно опять нашло сбыт, превысивший самые смелые ожидания, хотя и такое издание появилось уже несколько лет назад в Берлине и хотя ввиду постепенного беженского обеднения русский книжный рынок находился в необычайно угнетенном состоянии.

Из современных авторов "Слово" издало почти всего Алданова — и романы его, и эссе: и те и дру-

гие расходились полностью, но популярность его перешагнула далеко за замкнутый круг эмиграции, произведения Алданова переведены на 18 иностранных языков. Больше всего, однако, горжусь тем, что ”Слово” было, так сказать, крестным отцом Сирина, сразу привлекшего к себе внимание и выдвинувшегося в первые ряды.

В.В.Сирина, обожаемого первенца моего покойного друга В.Д.Набокова, я знал еще ребенком, но, хоть и очень люблю детей, мало интересовался тонким, стройным мальчиком, с выразительным подвижным лицом и умными пытливыми глазами, сверкавшими насмешливыми искорками. Правда, при частых посещениях особняка Владимира Дмитриевича детей приходилось видеть редко: они были ”на своей половине” (точнее — в своем этаже, надстроенном специально для них) со своими гувернерами, гувернантками и прислугой, и встречался я с ними только когда случалось у Набоковых обедать. Но и за обедом беседа не считалась с присутствием детей, которые тяготели: две девочки — к сидевшей между ними воспитательнице, два мальчика — к разделявшему их гувернеру.

Мне хорошо было известно, что родственное окружение друга моего настроено против меня, и казалось, что такое настроение сообщается и детям. Сам Владимир Дмитриевич любил говорить о своих детях, главным образом о первенце, которого он, а тем более жена его и ее родители буквально боготворили. В кабинете В.Д. бросался в глаза большой фотографический снимок: над детской коляской, в которой под великолепным, дорогими кружевами убранным одеяльцем лежал будущий Сирин, — любовно склонились, впившись в ребенка восторженным взглядом, отец, мать и дед Рукавиш-

ников. У меня сложилось впечатление о крайне ненормальном воспитании, скованном мертвящими великосветскими условностями, и еще больше укрепилось, когда, лет четырнадцати, Сирин, по завещанию внезапно умершего крестного отца, получил и сам миллионное состояние. Приблизительно в это же время В.Д. стал рассказывать, что "Володя пишет стихи, и очень недурные", но я не усмотрел в них признаков творческого дара, равно как не придавал значения рассказам об его настойчивом коллекционировании бабочек, оказавшемся однако серьезной, прочной страстью. Напротив, когда В.Д. поделился со мной радостью, что в ближайшем будущем Володя выпустит в свет сборник стихов, я так решительно протестовал, что друг мой заколебался и только и мог ответить: "Ведь у него свое состояние. Как же мне помешать его намерению?", и это заставило еще больше усомниться в будущности юноши.

Как счастливо ошибся я. Но не объясняется ли ошибка всецело тем, что мне оставалось еще неведома его, как он сам выразился в замечательном стихотворении памяти Толстого, "почти нечеловеческая тайна" — его подверженность таинственным зовам Аполлона к священной жертве, которые без остатка плавят любые влияния.

Ценные автобиографические черточки содержатся в речи, с которой он обратился ко мне в день семидесятилетия, поэтому уместно воспроизвести часть ее, опуская, конечно, обращения по моему адресу:

"Я не красноречив, т.е. не умею зараз думать и говорить, да и вообще, кажется, впервые произношу застольную речь, поэтому она вероятно получится корявo. Так вот, сначала позвольте мне отме-

тить математическую сторону дела: Вы сегодня старше меня ровно вдвое, хотя, правда, мы с Вами недолго будем хранить равновесие нашего возрастного соотношения. Начну догонять Вас, сам при этом слыша за собой кой-какие шажки, так что можно себе представить в некоей глубине бесконечности, в конце колоннады веков, Вас и меня — двух румяных миллионнолетних старцев — беседующих на уходящих в даль террассах Елисейских Полей. Нынче же, когда мы еще далеко не достигли этого положения райских ровесников и я к Вам отношусь, как половина к целому числу, мне особенно любопытно оглянуться на развитие Вашего образа в моем детском сознании. Человек, который с годами становится нам дорогим и близким, как бы теряет признак имени, которое поглощается его прояснившимся образом, как бледнеет фонарь на заре, так что этого отличительного имени человеку уже не нужно, оно с ним сливается. Но мне хочется сейчас вспомнить те годы, когда Вы не были для меня вот таким слитным, приписанным к населению моей души, Иосифом Владимировичем, а были далеким, даже, пожалуй, несколько легендарным Гессеном, т.е. вошедшим в состав принятого на веру, мифологического окружения моего детства, Гессеном, действующим в том большом мире, где собственно находилось его главное управление. Вместе с тем Вам, как естественному феномену, я вероятно не уделял много мыслей, но Ваше имя в моем детском быту было звуком знакомым, звуком гармоничным, и я живо помню, например, как в отсутствии моих родителей за столом престарелые родственники с наслаждением и ужасом толковали меж собой о пагубном влиянии, которое Вы имеете на моего отца, — до сих пор слышу зме-

иный свист Вашей двойной согласной и вновь ощущаю то безотчетное смущение, которое возбуждали эти толки во мне, ибо, хотя я и тогда, в детстве, был, как и теперь, достаточно чужд общественных, так называемых, интересов, но Вы уже принадлежали, в моем тогдашнем познании к тому державному порядку существ и вещей, который определялся смутными, но добрыми понятиями, такими как "Речь" или Дума, и откуда, говоря точнее, исходил тот дух просвещенного либерализма, без коего цивилизации — не более чем развлечение идиота. Я сейчас с завистью думаю о той климатической полосе русской истории, где Вы расцветали, и мучительно стараюсь сообразить многое, очень многое, что легко вспоминаете Вы...

Грянула, как выражаются заправские ораторы, грянула революция — и вот, после общего выхода из России начинается второй период наших с Вами отношений. Вы были моим первым читателем. С редким благоволением, переходившим почти в попустительство, Вы принимали потоки моих юношеских стихов, количество которых Вас несколько удивляет теперь, когда, бывало, просматриваете умащенные уже летами томы "Руля". Редактор, издатель, советник, друг — вот как, в преломлении моей личной судьбы, постепенно яснеет Ваш образ..."

Да, по-настоящему я познакомился с Сириным в изгнании, когда он из Кембриджа, где вместе с младшим братом учился, приезжал на каникулы к родителям в Берлин, куда по окончании университетского образования и совсем переселился. Передо мной был высокий, на диво стройный, с неотразимо привлекательным тонким, умным лицом,

страстный любитель и знаток физического спорта и шахмат (он выдавался умением составлять весьма остроумные шахматные задачи). Больше всего пленяла ненасытимая беспечная жизнерадостность, часто и охотно прорывавшаяся таким бурным смехом, таким беспримесно чистым и звонким, таким детски непосредственным, добродушно благостным, — что нельзя было не поверить ему, что "так лучезарна жизнь и радостей так много ... что сижу я и дивлюсь. Пусть хмурится сосед мой неразумный, а я, я радуюсь всему".

Неожиданным и тем более внушительным было сочетание с беззаветной влюбленностью в жизнь, склоняющей к предположению о покладистости — строгой принципиальности и независимости самостоятельных суждений, завлекающей противопоставлять парадоксы шаблонным высказываниям. Очень резко выражался он, например, о знаменитом физиологе Павлове, слышать не мог о Фрейде без раздражения, может быть потому, что ему представлялась кощунством попытка проникнуть в "почти нечеловеческую тайну". И разве в этом не сказывается тоже безграничное, благодарное доверие к жизни, скромность гостя ("бесчисленных гостей полны чертоги Бога, в один из них я приглашен"). Воздайте кесарево кесарю, Божие Богови.

Поэтические произведения, которыми Сирин начал свое усердное сотрудничество в "Руле", мне особенно дороги, вероятно потому, что они светились трогательно нежной любовью к покинутой родине: "О, звуки полные былого. Мои деревья, ветер мой, и слезы чудные, и слово непостижимое: домой".

А вот его первый прозаический фельетон, напечатанный в "Руле" и посвященный "задорной

нежити — прежнему Лешему", которому "тоже пришлось бежать" и который теперь, за полночь, "при колеблющемся свете слезящейся свечи" посетил его, и "почудилось мне вновь — тучи шатучие, высокие, волны листвы, блестки бересты, что брызги пены, да вечный сладостный гул..." Так трудно удержаться, чтобы не развернуть здесь перед глазами всю эту пышную словесную ткань, не насладиться проникновенной лирикой, как молния ослепляющими сравнениями...

Приведу заключительные строки, в которых ночной гость, от имени всей затосковавшей нежити, прощается с автором: "Ведь мы твое вдохновение, Русь, непостижимая твоя красота, вековое очарование... Друг, я скоро умру, скажи мне что-нибудь, скажи, что любишь меня, бездомного призрака, подсядь ближе, дай руку... Призрак исчезает, не было никого... Только в комнате чудесно тонко пахло березой да влажным мхом..."

Поэтому понятно, что и за границей, даже и в любимом Кембридже, впоследствии так изумительно отображенном в романе "Подвиг", — увлеченный занятиями и спортом, он все же чувствует свою отчужденность и понимает, что иначе это и не может быть: "Между ними (англичанами) и нами, русскими, стена стеклянная: у них свой мир, круглый и твердый, похожий на тщательно разрисованный глобус. В их душе нет того вдохновенного вихря, биения, сияния, плясового неистовства, той злобы и нежности, которые заводят нас в Бог знает какие небеса и бездны; у нас бывают минуты, когда облако на плечо, море по колено — гуляй душа!"

Нет, не только потому эти цитаты, число которых так хотелось бы умножить, волновали и прель-

щали, что им отвечало собственное настроение. Мне кажется, что в них следовало бы поискать ключ, найти разгадку тревожного сиринского творчества. В самом деле — блестящее описание Кембриджа он заключает подлинно трагической нотой: "Я задумываюсь все глубже — о причудах судьбы, о моей родине и о том, что лучшие воспоминания стареют с каждым днем, а заменить их пока нечем". Представить себе только, что же мог дать этот твердый круглый мир, наново, после безумной войны перекроенный версальским, трианонским и другими договорами, по способу пересаживаний крыловских музыкантов, — что он мог дать юноше, влюбленному в лучезарную жизнь и жаждущему радоваться всему.

Выброшенный из России через Крым, где пришлось пережить один из самых тяжких эпизодов братоубийственной смуты, Сирин побывал в Греции, Лондоне, Париже, в Швейцарии, Германии. Что же мог видеть в эти годы его зоркий глаз, кроме настойчивого извращения человеческой природы, угашения смысла жизни, усилий создать робота и таких симптоматических успехов в этом направлении. (Только что прочел в газете об изобретенном в Германии и демонстрированном в Лондоне роботе — "красивом молодом человеке, щегольски одетом, вежливо приподымающемся со стула, чтобы поздороваться на отличном английском языке, курящем сигару и даже выпускающем дым из ноздрей". Чего ему недостает, чтобы с честью стоять рядом с современным джентельменом, точно так же проявляющим себя только условными словами, жестами и действиями? Чем отличается он, которым распоряжаются его хозяева, стоя от него на расстоянии тридцати метров, от человека

тоталитарных, безданно и беспошлинно хозяйничающих государств? Такому человеку, как писал Томас Манн, чужда культура в самом глубоком и возвышенном смысле ее, он стремится лишь к одному — к отречению от своего я и безразлично ему, куда он идет: куда прикажут.)

В такой обстановке все меньше остается места для лиризма "стареющих воспоминаний", они лишь вкраплены — но с какой любовью — во все произведения. Прелестный, по-французски писанный рассказ "Мадемуазель О" начинается с того, что образ этой гувернантки, швейцарки, автор уже раздарил по частям разным персонажам в своих произведениях, и ему хочется собрать то, что еще осталось, чтобы образ не затерялся бесследно. Нет, пожалуй, ни одного романа у Сирина, в котором я не узнавал бы автобиографических черт, какой-нибудь детали знакомого лица, той или другой частности окружавшей его обстановки в особняке на Морской и даче на Сиверской, и это представляется характернейшей особенностью творчества его. Такие вкрапления служат ему как бы базой, лучше сказать — островком, который дает возможность отгородиться, сохранить себя.

Из многочисленных критических статей, посвященных Сирину, мое внимание привлекло сделанное Бицилли указание на духовное родство со Щедриным, документированное ярким сопоставлением ряда цитат. Но это указание требует, во всяком случае, двух существенных поправок: охват у них несоизмерим. Щедрин ополчается против уродливостей данного политического строя и соскальзывает поэтому на публицистику. Сирин обнажает червоточины, выеденные условностями и противоречиями в самых устоях общежития.

Еще больше поразило столь же странное с первого взгляда, сколь и глубокомысленное замечание английского критика, аттестовавшего Сирина как одного из немногих подлинных современных юмористов, которому бурная жизнерадостность властно подсказывает, что "а все-таки она вертится!"

Рискуя показаться навязчивым, я все же не мог преодолеть желания хоть в щелочку заглянуть в "почти нечеловеческую тайну", которая всегда трепетно волновала, и, нет-нет, закидывал Сирину вопросы о процессе творчества. Впервые такой вопрос я поставил Стравинскому за завтраком у нас после репетиции концерта в Берлине. Резко и сурово отрицал он "тайну", настаивая, что дело вовсе не во вдохновении. Композиционный замысел — математическая задача, которая требует обычного умственного напряжения для решения ее. Напротив, ответы Сирина доставляли радостное удовлетворение, укрепляя все прочнее слагавшееся о нем суждение, как о явлении гения. Я имею в виду определение Шеллинга, которое кажется мне глубоко обдуманным и правильным: гениальный человек тот, который творит с необходимостью природы. А ответ Сирина был приблизительно таков: когда вдруг является идея романа, я сразу держу его в голове во всех частностях и подробностях. Нельзя было не вспомнить, что как рассказывается в биографиях Моцарта, этот "гуляка праздный" точно так же утверждал, что когда возникла идея симфонии, она сразу звучала в голове полностью, со всеми отдельными деталями. На первый взгляд такое утверждение стоит в противоречии с кропотливой работой над рукописями, отличавшей Пушкина, Толстого, да, кажется, и всех "избранников", кото-

рым ”Господь передает свое старинное и благостное право творить миры и в созданную плоть вдыхать мгновенно дух неповторимый”. Сирин переписывает свои произведения по несколько раз, внося все новые поправки или изменения и лишь после этого, под его диктовку, отстукивается окончательный текст. Мне сдается, что здесь отнюдь нельзя усмотреть противоречия, напротив — такая кропотливая работа еще резче подчеркивает необычайную роль и значение божественного дара: вдохновение мимолетно, проекцию на бумаге приходится осуществлять, когда оно уже улетучилось, и настойчивые помарки и поправки свидетельствуют о тяжелых усилиях вскарабкаться по ступеням на ту высоту, на которую вознесли волшебно его крылья. Может быть, можно даже сказать, что трудность проекции прямо пропорциональна силе и стремительности взлета. Поэтому, если теперь профессора поэтики все чаще повторяют, что творчество есть не столько или не только вдохновение, но и ремесло, — это верно лишь в том смысле, что творчество состоит из двух совершенно различных неслагаемых моментов и, право же, мало оригинального было бы в присвоении каждому гениальному произведению авторства двух лиц (вроде братьев Гонкур) или уж во всяком случае обозначения его двумя ипостасями одного лица. Разве Сальериевская характеристика или ”Поэт” Пушкина не дают для этого достаточно объективных оснований?

Ремесленную часть творческой работы Сирин совершает с исключительной тщательностью, обычно лежа на диване и приспособив согнутые в коленях ноги в качестве пюпитра. Неизменным товарищем тут же находится словарь Даля, который от

доски до доски он перечел 4-5 раз и к которому то и дело обращается во время писания в поисках и проверках наиболее точного слова и выражения. Без преувеличения можно сказать, что каждая фраза строго обдумана, звучание ее музыкально выверено и, благодаря этому, неистощимое богатство русского языка, легкомысленно обмениваемое в эмиграции на внедрение мертвенно чуждых иностранных терминов, значительно преумножено. Как нельзя точнее к Сирину, в виде все более редкого исключения применимо утверждение того, у кого он заимствовал свой псевдоним, что "в слове — помышления сердца человеческого", равно как он же представляет наглядное доказательство, что действительно стиль — это сам человек: стиль его такой же "самостийный", независимый, особный, как и он сам.

Вспоминаю, что ему было лет двадцать, когда "Слово" поручило ему перевести на русский язык "Коля Брюньон" Ромен Роллана. Читая корректуры, я вносил некоторые исправления, после чего через Владимира Дмитриевича, с которым ежедневно общался в редакции "Руля", передавал Сирину для окончательной поправки. Возвращая корректуры, В.Д. однажды с улыбкой заметил: "А знаете, что Володя шепнул мне: ты меня только не выдавай. Я все его (т.е. мои) поправки потихоньку резинкой стер". На мгновение шевельнулось чувство досады на мальчишескую самоуверенность, но тотчас же подвернулась на язык сохранившаяся почему-то фраза из учебника Иловайского: "Да будет ему триумф!"

Так случилось со мной уже во второй раз: в начале издания "Права" Петражицкий, близко сдружившись и уверовав в мои редакторские спо-

собности, уезжая на лето в Берлин, просил просмотреть корректуры и исправить стиль печатавшейся тогда книги его: ''Университет и наука''. Стиль у него был мучительно корявый и из-за длинных запутанных периодов трудно понимаемый. Возгордившись этим поручением, я выполнил его с максимальной добросовестностью. Петражицкий привез мне ценный подарок, но все сделанные исправления, до последней запятой, уничтожил. Я был глубоко обижен, теперь же думаю, что был он, как и Сирин, совершенно прав. Отнюдь не хочу этим сказать, что поручение выполнено было неумело, напротив, но чем тщательнее я сглаживал стиль, тем больше отчуждал его от человека, тем полней стирал все, хоть и корявые, ньюансы, в которых отпечатлеваются ''помышления сердца человеческого''.

Если еще упомянуть о такой же самоуверенности композитора С.С.Прокофьева, пышному расцвету творчества которого немало содействовало талантливое перо музыкального критика ''Речи'' В.Г.Каратыгина, то этим и исчерпывается небольшой круг радостно встреченных на долгом пути моем лиц, отмеченных печатью гениальности.

В связи с ответственной кропотливостью сиринской работы стоит другая поразившая меня особенность его: однажды, сидя за чаем, он стал бросать в сына моего, своего большого друга, крошки кекса. Я в то время перечитывал его ''Подвиг'', написанный несколько лет назад, и произнес вслух понравившуюся мне фразу, опустив имена: ''...все щелкал исподтишка в ... изюминками, заимствованными у кекса''. — ''Да, живо отозвался Сирин, это Вадим швыряет в Дарвина, когда Соня приеха-

ла в Кембридж". Я изумился и уже для проверки спросил: "А это откуда — на щеке, под самым глазом была блудная ресничка?" — "Ну, еще бы. Это Мартын заметил у Сони, когда она нагнулась над телефонным фолиантом". — "Но почему Вы эти фразы так отчетливо запомнили?" — "Не эти фразы я запомнил, а могу и сейчас продиктовать почти все мои романы от 'а' до 'зет' ". Этот ненормальный диапазон памяти представляется мне волнующе непостижимым, мы только и можем сказать, что это явление исключительное, что он избранник Божий.

Вполне естественно, что у читателя Сирин успеха большого не имеет. Чем трудней и тревожней всякая попытка проникнуть в страшный смысл переживаемого катаклизма, тем охотней мы ищем отдохновения в авантюрном романе, дразнящими отрывками печатаемом на последней странице газеты, за бриджем, в кино, бессовестно экплуатирующем великое достижение человеческого ума. Да ведь и для самого Сирина нет как будто большего удовольствия, чем смотреть нарочито нелепую американскую картину. Чем она беззаботно глупей, тем сильней задыхается и буквально сотрясается он от смеха, до того, что иногда вынужден покидать зал.

Возвращаясь после долгого отступления к работе издательства, хочу еще сказать, что хотя мы и не теряли надежды на возможность ввозить кн352ни наши в Россию, издания "Слова" мы печатали — это как-то само собой сложилось, без особого обсуждения — по старой орфографии. Но уже в самом начале я поставил вопрос, не следует ли перейти на новую орфографию, для чего и созвал

совещание из некоторых пайщиков и специалистов. Но только невестка моя — начальница русской гимназии и преподавательница русского языка — решительно стала на мою сторону; все остальные категорически отвергали подчинение декрету советской власти, провозгласившему новую орфографию обязательной; они ссылались на то, что чтение, по такому правописанию вызывает затруднения, что при водворившейся разрухе Россия не обойдется без ввоза книг из-за границы и потому вынуждена будет мириться с допущением изъятий, что гораздо серьезнее запрещения стоит вопрос о платежах советской власти, что вообще нельзя рассчитывать на ее долговечность, а сменит ее правительство реакционное, которое, если и остановится на новом правописании (предложенном по инициативе кадетского министра Временного правительства), то введет таковое лишь постепенно и без принудительности. Все же несколько книг мне удалось выпустить по новой орфографии.

Успех ''Слова'' вызвал к жизни целый ряд конкурентов. Это было вполне естественно, но положительно трудно поверить, в каком количестве они появились. Помнится, было 72 издательства только в Берлине, такого изобилия не знал, пожалуй, и Петербург. После смерти Блока отдельные его произведения (в особенности знаменитое ''Двенадцать'') выпущены были десятком издательских фирм, а полное собрание сочинений появилось в двух изданиях.

Не по беженской одежке было появление роскошных иллюстрированных изданий того же поэта и разных монографий. А как еще не упомянуть о печатном шедевре-журнале ''Жар птица'', который и уллыптейновские специалисты признавали недося-

гаемым совершенством. Возникли также и специальные издательства — например, медицинское. Не говоря о солидности фирм и размерах вложенного капитала, различались они между собой прежде всего по "политическому" направлению, и было их на всякий вкус: выражаясь обветшалыми терминами, от крайне правых до левых, сохранивших некоторые связи с Россией и издававших произведения авторов, оставшихся на родине.

В малой степени нам это тоже удалось благодаря поездке Росса в Москву: его влекла туда перспектива найти новый сбыт для уллынтейновских иллюстрированных журналов и, главное, для выкроек, изготовляемых в огромных количествах с гарантией оплаты стоимости употребленного материала, если выкройка сделана была неправильно.

Курьезно — кстати сказать — что для получения визы в Россию Росс прибегнул к моей "протекции": мы отправились к жаловавшему меня тогда барону Мальцану, которого я удивил заявлением, что на этот раз являюсь со странной просьбой — о получении разрешения на въезд, но не в Германию, а в Россию.

— Надеюсь, однако, герр доктор, не для Вас?

— Не для меня, а для моего коллеги Росса, которого позвольте Вам представить.

— Охотно помогу Вам. Но, — прибавил он с афишируемой гордостью, — как жаль, что Вы не пришли часом раньше. Только что в этом же кресле сидел друг мой Красин, и если бы Вы пожаловали до того, вопрос был бы уже без проволочки разрешен.

Росс попал в Петербург за несколько дней до смерти Блока, присутствовал на похоронах поэта, свел знакомство с некоторыми писателями, приоб-

рел от вдовы поэта авторские права на издание полного собрания его произведений, от Андрея Белого — на его замечательное "Первое свидание", от Замятина и Кузьмина — на сборник рассказов разных авторов. Мне это было очень дорого, так как создавало иллюзию некоторого заполнения разрыва с родиной, становившегося все тяжелей. Нужно, однако, прибавить, что читательская масса живого интереса к творчеству "оттуда" не проявляла. Правда, в то время революция еще не находила отражения в художественной литературе.

Самым крупным, перещеголявшим и "Слово", было издательство Гржебина, друга и протеже Горького, через которого он ловко устраивал свои дела. Гржебин заключил договор с советской властью, обязавшейся приобретать несколько тысяч экземпляров каждой выпущенной им книги и на этом широком фундаменте развил бешеную деятельность. Благополучие, однако, длилось недолго — между партнерами возникли недоразумения (Гржебин горько жаловался на интриги против него), договор был нарушен и Гржебин оказался в положении худшем, чем старуха в "Сказке о рыбаке и рыбке". Колоссальный склад, в том числе и весьма ценных и отлично изданных им книг, расчитанный на твердый сбыт в России, превратился в макулатуру, издательство, промелькнувшее блестящей кометой, шумно исчезло, а сам Гржебин преждевременно скончался в Париже.

Ввиду все увеличивавшегося количества издательств и в расчете на то, что каждому в отдельности накладно было бы содержать собственный торговый аппарат для сбыта продукции, "Слово", опять-таки совместно с Уллыптейном и некоторы-

ми старыми и новыми пайщиками, основало новое, на этот раз акционерное общество, в пару "Слову" названное "Логосом", которое занималось только продажей книг. Я был избран председателем наблюдательного совета, а коллега Росс — директором вместе с привлеченным другом моим Я.Г.Фрумкиным, еще до меня переселившимся из Норвегии в Берлин. Росс сразу поставил это предприятие слишком широко: нанято было и претенциозно отделано большое помещение с обширными подвалами для складов книг, приглашено много служащих, помню — был даже специалист по переплетному оформлению книги. Вначале казалось, что предприятие выдержит и столь широкий размах — "Логос" представительствовал с десяток издательств (в том числе и самое крупное — Гржебинское), в действительности же в момент наивысшего расцвета книгоиздательской деятельности уже подкрадывалась неминуемая гибель. Теперь трудно даже уразуметь, какое не только экономическое, но и психическое действие оказала инфляция. Начавшись уже ко времени моего приезда в Берлин, она шла, все убыстряясь, чтобы наконец ринуться, мало сказать семимильными шагами, и это ристалище вызывало настоящее головокружение.

Из сохранившихся у меня официальных писем председателя наблюдательного совета "Слова" вижу, например, что при подписании договора, мое вознаграждение определено было в 30000 марок, через год оно повышено до 60000, а еще через три месяца — новое увеличение вдвое, а затем жалованье определено в 35000 марок в месяц, а сверх того на расходы по представительству 175 золотых марок. А вот предо мной несколько конвертов, в которых касса Улльштейна выдавала жалованье:

в июне 1923 г. на конверте значится, что он содержал 2781000 марок, а в июле — 7788700 и в августе — 50.108000 марок. А потом пошли миллиарды, какие-то фантасмагорические отвлеченные величины, которые до того никаких реальных ощущений не пробуждали.

Из домашней обстановки этого времени вспоминается, что домохозяин заявил о невозможности заготовить уголь на зиму для центрального отопления. Образован был, на знакомый нам манер, домовый комитет, решивший большинством голосов нанимателей мелких квартир центральное отопление упразднить.

— Но как же мы проведем зиму в нетопленных квартирах? — спросил я в недоумении.

— Мы стеснимся в одной-двух комнатах, поставим железную печурку, остальное помещение наглухо запрем.

Мне это представлялось невозможным — жена два раза болела воспалением легких и нельзя было не опасаться, что беготня из теплой комнаты по длинному неотапливаемому коридору, соединяющему квартиру с кухней, будет для нее гибельна. По совету приятеля инженера, решено было отъединить радиаторы центрального отопления, соединить их новой системой труб и устроить квартирное центральное отопление. Смета определена была в 11000000 марок (8000000 на покупку труб и печи и 3000000 на оплату рабочих), которые я занял у знакомого банкира. Трубы и печь были немедленно куплены, а три миллиона, предназначенные на плату рабочим, выросли в течение месяца работы в 60 с чем-то миллионов. Когда же, спустя некоторое время банк уведомил , что мой долг составляет 75 миллионов, я погасил его пятьюдесятью аме-

риканскими центами. Долларовая бумажка, что уж говорить о фунтовой, представлялась несметным богатством, лучше сказать — скатертью самобранкой. Помню, на одном из общих собраний Союза литераторов я обратился с напоминанием об уплате причитающихся членских взносов. Один из присутствующих сказал: ”Прошу принять мой взнос” и поднял руку, державшую бумажку в десять шиллингов. Надо было видеть, какая сразу воцарилась благоговейная тишина, как все обернулись в его сторону и расширенными глазами созерцали магическую бумажку, с какой осторожностью брали в руки, как она торжественно пропутешествовала ко мне — точно это священный хрупкий сосуд. Да! Такая бумажка подлинно была скатертью самобранкой: и с малым количеством иностранной валюты можно было, под ее обеспечение, получать в банках миллионы, миллиарды германских марок, которые Рейхсбанк печатал во всех крупных типографиях, выпускал в несметном количестве и которые феерически обесценивались не с каждым днем, а с каждым часом, с каждой минутой. Поэтому расплачиваться за миллиарды можно было буквально грошами иностранной валюты, и вот уж действительно явилась возможность ”жить на счет прусского короля”, хоть его самого больше уже и не существовало. У меня был знакомый, умудрившийся таким образом выстроить и отмеблировать отличную виллу в Груневальде. А сколько домов, целыми кварталами, перешло из рук разоренного инфляцией среднего сословия к иностранцам, в том числе и к русским беженцам...

Ясно, что в таких условиях о сколько-нибудь правильном расчетливом ведении промышленного

предприятия речи быть не могло. Издатели, торговым представителем коих был "Логос", собирались все чаще и чаще, чтобы устанавливать все новые цены на книги, но поспевать и держаться на уровне стремительного обесценения не было никакой возможности. Все труднее становилось не сомневаться в правильности мрачного предсказания моего соседа по вагону, что Германии не оправиться — вот предсказание уже и начинает осуществляться.

Возьмется ли кто-либо объяснить, на основе старой политической экономии, как, с помощью каких сил стране все же удалось преодолеть чудовищную разруху и в один прекрасный день — мановением руки Шахта * — остановить бесовскую пляску миллиардов? Но русские издательства ее не пережили — для них мало благоприятны были и все прочие условия — бедность основного и оборотного капитала, неустойчивость покупательских книжных фирм, трудности взыскания причитающихся платежей, изменчивость беженских духовных интересов в сторону постепенного понижения уровня, материальное обеднение эмиграции и т.п. И с той же волшебной скоропалительностью, с какой издательства возникали, они, как потешные ракеты, стали лопаться и, подобно бумажным деньгам гражданской войны, сотни тысяч книг возвращались в котлы писчебумажных фабрик для переварки.

Таким образом, наряду с "Логосом" и "Словом", уцелело лишь два-три издательства, которым пришлось бороться со все возрастающими финан-

---

* Директор Германского государственного банка.

совыми затруднениями. Наши предприятия оказались в неоплатном долгу перед фирмой Уллынтейн, которая одна только и успела извлечь выгоду и от типографских заказов "Слова" и от поступающих в "Логос" со всех концов света платежей в иностранной валюте. Русские пайщики получили за внесенные ими деньги только комплекты изданных "Словом" книг, и некоторые пытались даже возбудить судебный процесс. Долг Уллынтейну был ликвидирован продажей "Логоса" в чужие руки, а затем было ликвидировано и "Слово", которое в последние годы влачило полумертвое прозябание, выпуская одну-две книги в год (Алданова и Сирина).

ГАЗЕТА «РУЛЬ»

Из моих литературных созданий возникли по моей собственной инициативе, строго говоря, только "Архив русской революции" и небольшая брошюра "В поисках общественного идеала". В отношении "Права" я разделил зачин с А.И.Каминкой; ежедневная газета сладко грезилась, пока не получил предложения — сначала от Проппера, потом от Бака. Даже и книги мои — "Судебная реформа" и "История русской адвокатуры" — обязаны появлением заказов, первая — издателя, вторая — Совета присяжных поверенных.

Что касается "Руля", здесь, с моей стороны, не только не проявилось никакой инициативы, но оказано было даже упорное противодействие. Не то чтобы я разлюбил газетную деятельность: при уверенности в правильности позиции возможность ежедневно высказываться и убеждать других нисколько не утратила соблазна. Но так как на первом, далеко вперед выдвинутом месте теперь стояло сокрушение большевиков, — убеждать в этом беженцев значило стучаться в открытую дверь.

А если относительно способов и форм борьбы все более определенно намечались разногласия, то вынесение сора на глаза иностранцев представлялось крайне нежелательным в смысле урона сочувствия и уважения к эмигрантской избе. Подсознательно играло, вероятно, некоторую роль и ощущение деградации в смене крупного петербургского органа печати, каким была ''Речь'', интересовавшая и европейское общественное мнение, на скромный беженский листок. (Невольно приходили на ум слова Некрасова: ''Нет, в этот вырубленный лес меня не заманят, где были дубы до небес, а нынче пни торчат''. Помню, как при обсуждении редакционной сметы ''Руля'' болезненно кольнуло замечание представителя Уллынтейна: ''Я считал, что для такого листка в редакции достаточно было бы двух-трех человек'').

Так или иначе о газете я не помышлял, тем более, что по договору со ''Словом'' не вправе был ''искать и отдаваться побочным занятиям, которые существенно препятствовали бы или сокращали работу для ''Слова''. Решительно не соглашался со мною А.И.Каминка, тоже переселившийся из Финляндии в Берлин: он относился к печатному слову, как к какой-то самодовлеющей ценности, значение которой еще больше вырастает в смутное время общественного разброда. Это убеждение тесно сплеталось у него с личным мотивом: верный и заботливый друг, он считал необходимым вернуть В.Д.Набокова к активной деятельности не только из дружеской близости к нему, а и потому, что очень высоко ставил моральный авторитет, которым Набоков пользовался в России. Я уже упоминал, что Набоков, попавший в лапы большевиков, но по капризу судьбы отпущенный из-под

ареста в Смольном, уехал после объявления партии к.-д. вне закона в Ялту, где поселился в чудесном имении гр. С.В.Паниной Гаспра. Очаровательная ”малая землица” (как называли этот благословенный уголок) тоже не отстала от других частей России, и здесь одно правительство сменяло другое. В одном из них (предпоследнем), образованном по инициативе М.М.Винавера, принял участие В.Д.Набоков в качестве министра юстиции.

Когда со свойственным ему спокойным юмором Владимир Дмитриевич подробно рассказывал Каминке и мне быстротечную историю этого правительства, передо мной оживала северо-западная эпопея, пожалуй еще в более противоестественном варианте. Здесь кучка людей сами себя назначили правительством, вследствие чего оно было еще более эфемерно, от Добровольческой армии, ведшей здесь борьбу с большевиками, совсем оторвано и никакого влияния, никакого касательства к борьбе этой не имело.

Вместо англичан, полковника Пиригордона и генералов Гофа и Марша, здесь были французские полковник Труссон, генерал Казнав и адмирал Амет, ухитрившиеся поставить новый рекорд самодурства: если англичане не вышли за пределы словесной грубости, то французские коллеги их, как отмечено в ”Архиве русской революции”, ”проявили высшую степень бесцеремонности и грубого презрения к личности”. Когда в апреле 1919 года, ввиду тяжелых неудач Добровольческой армии, правительство вынуждено было эвакуироваться и получило согласие греческого адмирала Какудидиса на посадку членов правительства с семьями на корабль ”Трапезонд”, — полковник Труссон грубо кричал на министров: ”Где деньги? Дайте

деньги, деньги иначе вы не уедете", а французский адмирал Амет подтвердил, что не выпустит из Севастополя, уже обстреливаемого большевиками, ни одного судна, пока министры не сойдут с "Трапезонда" и не предстанут пред его очи, чтобы, держа адмирала в курсе своих передвижений, отчитаться в израсходованных деньгах, которые, ввиду неизбежного захвата Севастополя красными, уже превратились в фикцию. Но мысль о том, чтобы своими грозными боевыми судами отразить натиск красных, и в голову адмиралу не приходила.

(Составленный об этом фантасмагорическом эпизоде отчет заседания совета министров напечатан во втором томе "Архива русской революции", и в примечании к этому, бесспорно единственному в своем роде, документу Набоков вполне правильно указал, что, "выделяясь в степени резкости и грубости, данный вариант содержит много характерных черт, неизменно повторявшихся каждый раз, когда изменившаяся обстановка ставила перед нашими бывшими союзниками определенные требования, удовлетворить которым они не хотели или не могли") .

После ликвидации Крымского правительства Набоков жил в Лондоне, где находился и П.Н.Милюков (которому французы долго не могли простить переговоров с немцами в Киеве), и принимал участие в издаваемом Милюковым на средства Врангеля журнале "New Russia". Из Лондона Каминка его и вызвал, и, к великой радости нашей, в Берлине мы встретили его ни на иоту не изменившимся после всех пережитых потрясений и полной потери миллионного состояния и с детства усвоенных удобств жизни. Он остался таким же бодрым, душевно уравновешенным, уверенно стоя-

щим на раз навсегда избранной позиции. (Два с половиной года разлуки накопили множество впечатлений, которыми мы оживленно делились, и так и стоит перед глазами скромный номер в гостинице "Фюрстенгоф", в котором незаметно уносились часы наших долгих дружеских бесед).

Однако, по главному очередному вопросу — о газете — сразу же выяснилось коренное разногласие, и я не могу не признать, что, оказавшись как бы в тисках, я проявил мало последовательности, а просто метался беспомощно: само собой разумелось, что если газета осуществится, я должен стать рядом с Набоковым — нас связывали узы двадцатилетней, совместной и согласной общественной деятельности и все крепнувшей безоблачной дружбы. За неимением у В.Д. редакторского опыта и при казавшемся мне странным и необъяснимым отсутствии инициативы и распорядительности — оставить его одного было бы по меньшей мере некорректно. Каминка занят был и делами коммерческими, а потому в газете мог быть только аутсайдером. Но вместо того, чтобы покориться судьбе — от нее же не уйдешь, я настойчиво возражал против самого плана и в обрывках дневников того времени нахожу запись: "Как некрасовский губернатор в "Русских женщинах", могу сказать, что истощил все усилия, чтобы доказать ненужность газеты", и успокоился на придуманном компромиссе — "наладив дело организационно, воспользуюсь первой возможностью, чтобы уйти". К этому еще прибавлено: "Как интересно будет прочесть эти строки через несколько месяцев, которые успеют показать, как наше предприятие сложилось". Увы, они, по обыкновению, выяснили, что не так склалось, как ждалось.

Переговоры с Улльштейном всецело легли на меня, а доктор Натан, узнав о нашем намерении издавать газету, снова склонял к заключению договора не с Улльштейном, а с Моссе. Но теперь, когда с Улльштейном мы уже были связаны "Словом", выбора не было, а Гравенштейн пришел в совершенный восторг от новой комбинации, тем больше, что своей породистой благородной внешностью и обворожительными манерами Набоков произвел на немцев сильное впечатление. Без труда снова удалось собрать требуемые деньги — они как-то сами плыли в руки. Приятель мой С.А.Смирнов (последний государственный контролер Временного правительства) внес 25 тысяч марок для участия в "Слове", но так как пай "Слова" определен был в сто тысяч, я предложил Смирнову получить его взнос обратно. Он отказался: "В таком случае внесите эти деньги от моего имени в газету, которую вы собираетесь издавать". Всего мы получили 700 тысяч марок, что составляло, ввиду временного улучшения курса германской валюты в этот момент, около 18 тысяч долларов.

5 ноября 1920 года был подписан договор между "Рулем" и Улльштейном, существенно отличавшийся от договора по "Слову". В "Руле" фирма Улльштейн не была компаньоном, а принимала на себя, по себестоимости типографский заказ и управление изданием с участием в прибылях, за что предоставляла нам редакционные помещения и свой осведомительный аппарат. Для поддержания деловой связи между контрагентами в состав наблюдательного совета "общества с ограниченной ответственностью" "Руль", состоявшего под моим председательством (директором-распорядителем избран был Каминка) вводятся членами два или

три директора Уллыптейна — это были Кнолль, заведующий отделом объявлений, Миллер, заведующий распространением газет и Калисский. Но "наблюдательный совет не вправе оказывать какое-либо влияние на политическое направление газеты, и роль его ограничивается исключительно контролем коммерческого ведения предприятия и деловых издательских мероприятий", для чего совет еженедельно собирается в заседания.

В Германии, за исключением партийных изданий, газеты и, в особенности, журналы представляют такие же капиталистические предприятия, как любая фабрика или завод, и отношения между издателем и редакцией, равно как и между редактором и сотрудниками покоятся на таких же основах обычного договора личного найма. Мне даже кажется, что переход изданий из рук в руки и перетасовка работников печати из одного издания в другое происходит гораздо чаще, чем в других отраслях промышленности. А кроме того, и при республиканском строе, при полной свободе печати, сохранилась так называемая Pressestelle — правительственное учреждение, куда, если не ошибаюсь, ежедневно собираются для обмена мнениями, получения информации, обнимающей и сообщения о "видах и намерениях правительства". В соответствии с этим несомненно стоят и поражавшие нас резкие перемены политического курса в газетах, даже наиболее независимых и уважаемых. Я уже упоминал, как решительно изменил отношение к советскому режиму "Берлинер Тагеблатт" после заключения рапалльского договора. Но зато и влияние газеты на общественное мнение ни в каком соответствии не стояло с ее признанным авторитетом: наиболее бесспорным авторитетом пользовал-

ся, пожалуй, именно "Берлинер Тагеблатт", а между тем демократическая партия, которую эта газета представляла в избирательных кампаниях и горячо за нее ратовала, неизменно и все быстрее таяла.

Появление "Руля" совпало с крушением Врангеля. Набоков считал неудачу Врангеля случайным эпизодом, который не должен отразиться на продолжении вооруженной борьбы с советской властью. Я смотрел на это иначе и поражение Врангеля для меня не было неожиданностью, но и я никак не думал, что это так скоро сбудется. И уж совсем огорошило нас, что телеграмма о врангелевской катастрофе получена была утром 15 ноября, когда мы собрались выпускать первый номер (газета выходила днем, в 3 часа, и помечалась следующим днем — поэтому на первом номере значится: вторник 16 ноября). Руководящая статья, написанная совместно Набоковым и мной и представлявшая компромисс между нашими взглядами, уже была набрана, и пришлось спешно ее перекраивать и переделывать применительно к грозным сообщениям об окончательном поражении и эвакуации Крыма. Все же сохранилось в ней упоминание о "крымском центре", превратившемся уже в фикцию, а в комментарии к телеграфным известиям, от которых на сердце кошки скребли, крымская катастрофа квалифицировалась, как эпизод, нисколько не колеблющий уверенности, что "борьба непременно и неизбежно приведет к цели".

Врангелевское поражение выгодно отличалось от предыдущих катастроф — Деникина, Колчака и других тем, что на этот раз удалось избежать невероятно кошмарной обстановки эвакуации. Теперь

она была совершена в условиях более или менее нормальных, а главное — вывезена была на судах почти вся армия в несколько десятков тысяч вооруженных бойцов (правда, пятнадцать тысяч раненных солдат оставлено было в Крыму). Но как раз эта счастливая особенность имела тяжелые моральные последствия. Парижский к.-д. комитет выступил с заявлением о готовности и впредь "поддерживать ... все усилия, направленные к свержению большевиков", но тут же сделал оговорку — с явным намеком на ошибки Врангеля — что "будет отказывать в поддержке тем, кто соединяет с борьбой попытки возвращения к дореволюционным порядкам". Вместо исчезнувшего "последнего антибольшевистского правительства на русской территории" комитет предложил образование Национального комитета "из лиц, принадлежащих к разным политическим группам, и по составу своему достаточно авторитетный в глазах иностранных правительств, для защиты международных интересов России и для отстаивания целости ее территории". В дальнейшем эти алгебраические знаки были конкретизированы как коалиция к.-д. налево с социалистами-революционерами.

Чуть из пеленок, "Руль" сразу завертелся в хаосе соперничающих и враждующих начинаний, в вихре полемики, которая меня сильно увлекла. В статье, посвященной моему 70-летию, Милюков, упоминая о начавшемся между нами расхождении, утверждает, что "при боевом характере И.В., инициатива нападения принадлежала ему, я не остался в долгу". Это было не совсем так: когда "Последние Новости" стали выходить под редакцией Милюкова, в "Руле" помещена была превосходная статья, напи-

санная В.Д.Набоковым и озаглавленная "Другу-противнику":

"...никакие разногласия последнего времени не ослабляют горячности привета, который мы сегодня обращаем к новому редактору "Последних Новостей". По сравнению с тем многолетним прошлым, которое связывает нас с Милюковым ... эти наши последние расхождения, как бы серьезны они ни были, все-таки получают эфемерное значение ... То общее, что нас объединяет и связывает, бесконечно сильнее разделяющих нас, хотя бы и принципиальных, частностей. А с другой стороны, помимо личных чувств, мы и с общественной точки зрения радуемся, что публицист такой исключительной силы, как Милюков, получил возможность высказываться перед широкой аудиторией... Отныне ... в критике наших собственных взглядов мы будем встречать не одну лишь пошлую грубую брань, как было до сих пор, а серьезное желание выяснить прежде всего, правильно понять позицию противника и точно установить свою собственную".

Мне думается, что я не погрешу против истины, утверждая, что такого тона мы неизменно держались, да иначе оно и не могло быть, потому что личные чувства к Милюкову, как к человеку исключительному, так и остались нетронутыми со времени первой встречи нашей. Да и сам Милюков, но уже много позже, в своих возражениях Е.Д.Кусковой, противопоставил привезенной ею из Москвы психологии — "психологии непреклонности, вывезенную из Ростова", и заявил, что если бы пришлось вернуться к 1918 году, то надо было бы повторить все, что тогда было сделано. Этот случайный образец полемики может вместе с тем служить доказательством, что основное расхождение имело

своим источником тон, который делает музыку, и прав был Набоков, говоря, что в сущности наши разногласия эфемерны.

Получение точных сведений из России и о ней встречало большие трудности — вначале даже газеты попадали лишь случайно и урывками, непосредственно из редакций выписать газету было нельзя. Посылать письма оставшиеся в России родные и знакомые опасались и, конечно, не безосновательно.

Однажды в редакцию доставлено было странное письмо: на обороте конверта написан был от руки бледными чернилами адрес — "в Н-чека от Черчека" (т.е. в Н-скую чрезвычайную комиссию от Черноморской чрезвычайной комиссии). А на лицевой стороне крупными буквами напечатан был адрес берлинской промышленной фирмы, которая очевидно имела до революции филиал для постоянного представителя в Ростове, где находилась черноморская чека. За отсутствием конвертов ЧК пользовалась конфискованным у фирмы имуществом, даже не перечеркнув печатного текста на конверте, и почта вместо Сибири направила письмо в Берлин. А в конверте содержался ответ черноморского чекиста на запрос сибирского об адресате и лицах, упоминаемых в письме, где говорилось, между прочим, что "прежде Колчак стрелял, а теперь эта проклятая коммуна стреляет. Когда же конец стрелянию народа здесь?" Но так как подпись была неразборчива, то письмо и было направлено в Ростов для допроса адресата.

Совсем таинственным был обходной маршрут, совершаемый письмами, посылаемыми из одного европейского государства в другое — через Москву

или Петербург. Так в "Руле" напечатан был снимок с конверта письма, адресованного из Берлина в Данциг, с почтовыми штемпелями: "Москва — 1 экспедиция". Мы обратились с этим конвертом в берлинский почтамт, но так и не получили вразумительного разъяснения, как могло случиться такое чудо в решете. А коммунистические газеты, как отмечено было в "Руле", открыто хвастали, что компартии удалось организовать свои ячейки на почтамтах.

Страстная погоня за сведениями из России — по закону: спрос родит предложение — часто наталкивалась на недобросовестность, а то, конечно, и на злостное намеренное введение в заблуждение. В виде писем из Москвы или Петербурга сообщались данные, составленные на основании соображений и выводов из прочитанных газет, или полученные (и услужливо расцвеченные) от приезжего — непосредственно или уже из вторых и третьих рук — или добытые от одной из бесчисленных иностранных контрразведок, или перехваченные по радио и т.п. Я всячески навострял редакторский нюх, чтобы распознать фальшь, и огромное число сообщений отправлялось в корзину. Но само собой разумеется, что совсем уберечься от просачивания неверных или преувеличенных сообщений было невозможно. Можно, однако, утверждать, что и вымыслы лежали в плоскости действительности, которая их еще далеко превосходила. Сообщено было, например, о смерти писателя Шмелева от истощения, а оказалось, что убит большевиками его единственный сын. Не раз случалось, что авторами ложных сообщений бывали советские агенты, в расчете скомпрометировать газету, а то и для того, чтобы между собой свести какие-то счеты.

О некоторых частностях нашего осведомления я и сейчас еще не вправе говорить, но могу утверждать, что, если при создавшихся препятствиях нельзя было оградить газету от просачивания неточных сведений, то не раз удавалось (например, сообщениями об отставке Чичерина, о назначении Микояна, о расколе в политбюро) весьма заблаговременно разоблачать "виды и намерения" правительства, и мне доподлинно известно, что отставка Чичерина задержана была на время, чтобы не форсировать подтверждение нашего сообщения. Но чтобы оценить сложность и трудность нашей задачи, достаточно напомнить, что даже и теперь, когда в Москве сидят иностранные корреспонденты, имеющие возможность непосредственно наблюдать, сведения, ими сообщаемые, отличаются яркими разноречиями и противоречиями.

Торговое соглашение Германии с Россией, опубликованное как раз в день падения восставшего Кронштадта, а затем — еще больше — рапалльский договор естественно возбудили опасение, что вокруг "Руля" создастся атмосфера недружелюбия, что возможность откровенно высказывать свое отношение к советскому режиму и критиковать поведение Европы будет существенно сужена. Должен признать, что этого ни в малейшей степени не случилось. Правда, "Берлинер Тагеблатт", резко изменивший позицию в отношении советской власти, поспешил напечатать сообщение, что "Гессен и Набоков стоят во главе монархического заговора, разрабатывающего план создания международной антибольшевистской армии". Беззастенчивую полемику вели коммунистические органы, а социалистические усердно подпевали. Но прави-

тельство стояло в стороне и никакого давления не оказывало, может быть потому, что рапалльский договор огорошил не только общественное мнение, но и самого президента Эберта. Берлинские газеты настаивали, что договор заключен по непростительному недосмотру, а "Руль" опубликовал выдержки из дневника осведомленного английского посла Абернона, утверждавшего, что сгоряча Эберт решил уволить Мальцана, "хотя бы это повело за собой падение Ратенау". А как только результаты договора стали сказываться в непрестанных трениях с советской властью, русский отдел министерства иностранных дел утратил основание придираться к нашим разоблачениям и, ссылаясь на свободу печати, отваживал домогательства полпредства в отношении газеты. Поэтому "Руль" мог сохранить боевую позицию в такой мере, что в апогее своего могущества Зиновьев в одной из речей выдал нам аттестат "самой злой газеты".

В 1927 году, в мое отсутствие из Берлина, была напечатана статья, предостерегавшая от посещения полпредств, ибо в этих зданиях имеются подвалы, в которых бесследно исчезают неугодные большевикам субъекты. Вернувшись в Берлин, от одного из чиновников русского отдела я услышал такой рассказ: "Позвонил полпред, заявил резкий протест против статьи "Руля", намекнул на наше попустительство и категорически потребовал удовлетворения. На вопрос, в чем оно должно выразиться, ответ был, что во всяком случае Гессен должен быть выслан из Германии. Я уклонился от дальнейших объяснений, обещав выяснить, в чем дело, и позвонил вам в редакцию. Узнав, что вас нет в Берлине, я страшно обрадовался, считая, что тем самым требование полпредства ликвидирует-

ся. Действительно, когда я об этом сообщил полпреду, он значительно успокоился, но на другой день появилась передовая, снова возвращавшаяся к "подвалам", опять звонок из полпредства, уже совсем вызывающий тон и недовольное заявление, что если министерство столь демонстративно игнорирует дружественные отношения, ничего не остается, как обратиться с жалобой в суд... Пожалуйста, зайдите завтра ко мне в министерство".

Когда я пришел, меня принял гехеймрат Л., которого я увидел со строгой маской на лице, соответствовавшей суровому тону прочитанной нотации, что, дескать, надо считаться с дружественными отношениями Германии с Россией и не позволять себе столь необоснованных оскорблений. Отчасти вследствие неожиданности, но и намеренно, я выслушал его, словно воды в рот набрав, а когда он кончил, я встал и поклонился в знак прощания. Такая тактика, как я и рассчитывал, смутила собеседника.

— Что же Вы молчите?

— А что же мне сказать? У нас есть поговорка: в чужой монастырь со своим уставом не ходи. Могло бы показаться, что теперь, когда полпредство обратилось в суд, остается выждать приговор. Но я у вас в гостях и должен применяться к вашему укладу и навыкам. Поэтому могу только сказать — принимаю к сведению.

А выйдя из кабинета гехеймрата, в коридоре увидел поджидавшего меня упомянутого чиновника, тут же пригласившего к себе на завтрак, за которым на другой день он всячески выражал дружеское внимание. Через несколько дней он пришел на мой доклад о знаменитой поездке Шульгина в Россию, о которой речь еще будет впереди, в ант-

ракте осыпал неумеренными похвалами и просил не вспоминать о нотации.

А еще год спустя, когда прежний состав русского отдела был раскассирован, по случаю приезда Литвинова в Берлин — напечатана была очень злая на него карикатура, и я получил грубое письмо от пресс-шефа. Очень жалею, что не сохранился у меня ответ, в котором я выражал удивление, что советская власть обращается к германской власти за ограждением своего престижа, хотя мы далеко не дошли до тех пределов, до коих доходит официальная советская печать в карикатурах не только на членов германского правительства, но и на главу государства.

Если говорить об отношении эмиграции к печатному слову, то здесь чрезвычайно характерно было, прежде всего, пристрастие к эзопову языку, выработанному русской публицистикой под влиянием придирчивой царской цензуры. Теперь цензуры не было, но эзопов язык служил другую службу — он превратился в туманную завесу (как я выразился по поводу доклада Кусковой о "засыпании рва" между беженцами и Россией) — позволявшую отрекаться или существенно варьировать высказанные мысли. А в обращении к иностранным судам ("Речь" и "Право" за время существования ни разу не подверглись судебному преследованию со стороны частный лиц) свой брат беженец не отставал от советской власти, и эти натиски гораздо сильнее волновали, как признак морального разложения. Я уже говорил о появлении ложного сообщения о смерти писателя Шмелева — в действительности был убит единственный сын его. Приехав в Берлин, Шмелев говорил, что он,

а еще больше жена его, были убеждены, что сын не погиб, а без вести пропал, и что они его усиленно разыскивают. Здесь в Берлине им улыбнулась надежда: они прочли в "Руле" объявление специального бюро, занимающегося розысками, и обратившись туда, по данным имеющейся в бюро картотеки узнали, что сын жив, обретается где-то на Дальнем Востоке — за известную мзду бюро готово снестись со своим филиальным отделением, узнать точный адрес сына и уведомить его о запросе родителей. Шмелев рассказывал об этом в повышенном тоне, а жена совсем воспряла духом, уверенная, что вскоре обнимет сына. Да и можно ли было не поверить, можно ли было предположить, что найдется изверг, который на неизбывном горе будет строить свою мерзкую корысть!

Однако порасспросив Шмелева поподробней и внимательно прочтя объявление, я проникся гадким подозрением и тем более разъярился, что сам же "Руль" оказался пассивным соучастником. Я попросил одного из наших сотрудников навести в бюро справки о проживавшем в Берлине деникинском офицере, якобы без вести пропавшем, и о нем точно так же было сообщено, что находится он где-то возле Шанхая, и предложено уплатить за наведение более точных справок. Немедленно же я огласил это в "Руле", не остановившись перед обвинением бюро в шантаже, получил от известного берлинского адвоката, впоследствии близкого к полпредству, угрожающее письмо с требованием извинения и помещения опровержения, решительно в этом отказал, адвокат сунулся в суд, но прежде чем жалобе был дан ход, бюро предпочло ликвидироваться.

Помимо судебных процессов, редакции пришлось подвергаться и хулиганским нападениям, и опять как со стороны большевиков, так и своего брата эмигранта. В одном случае поводом послужили статьи о раздиравшем православную колонию Берлина церковном расколе, в корне своем, как оно ни странно, тоже возникшем в зависимости от разного отношения к революции — приятия или неприятия ее. В данном случае это отношение конкретизировалось на вопросе о подчинении Всероссийскому Патриарху (благодаря революции появившемуся), вопросе, обострившемся после смерти Патриарха Тихона. Первым поднял бунт против Москвы известный митрополит Антоний, выставленный на выборах кандидатом в Патриархи.

Впоследствии отпал от Москвы и назначенный преемником Антонию митрополит Евлогий, отдавшийся под юрисдикцию Вселенского Патриарха. Верная Москве церковь (прозванная в Берлине — "церковь ГПУ"), насчитывавшая в приходе человек 10-20, оказалась в подчинении у литовского митрополита Елевферия, и, наконец, существовала в Берлине и так называемая "живая церковь", получившая от полпредства богатое церковное имущество церкви при российском посольстве. В этой церкви еще отслужена была торжественная панихида по Набокову — посольства уже не существовало, но большевики еще не овладели зданием на Унтер ден Линден.

Само собой разумеется, что газета не могла закрывать глаза на церковную смуту, сильно волновавшую беженскую колонию. После напечатания нескольких статей — может быть излишне страстных — в редакцию явилось двое незнакомцев, и когда я вышел к ним в приемную, один обратился

с каким-то невнятным вопросом. Я переспросил, а он крикнув: "Э! Да что тут разговаривать!" — одной рукой сильно толкнул меня, другой — ударил палкой. Я упал, а секретарша, стоявшая позади, закатила ему пощечину. Он было бросился на нее, но компаньон удержал: "Даму бить нельзя!"

Оба уселись, требуя вызова полиции, которая через несколько минут явилась и составила протокол. Вызванный на другой день в полицай-президиум, я привел в совершенное недоумение чиновника, который никак не мог понять, почему я уклоняюсь от принесения жалобы на обидчиков, которым только и хотелось парадировать на суде, чтобы попасть в большие забияки.

Другое нападение на редакцию было произведено группой немецких троцкистов. Они явились в субботу, после двух часов, когда почти все сотрудники уже разошлись и типография опустела, и пронеслись по нашему помещению вихрем разрушения, опрокидывая столы, разрывая рукописи, разбив пишущую машинку и избив моего соредактора Ландау. Прежде чем полиция нагрянула, хулиганы дали стрекача.

Самым бурным было третье нападение: приехав к 9 часам в редакцию, я увидел картину настоящего погрома. Оказалось, что рано утром, когда никого кроме уборщицы не было, человек 10-15 ворвались в помещение, схватили ее за горло, она успела вырваться и с криком бросилась в типографию, они же пробежали по всем комнатам, разрушая все на своем пути, перерезали телефонные провода и успешно скрылись от подоспевших рабочих.

Это нападение вызвало возмущение всей берлинской печати, приписавшей его коммунистам.

В московской "Правде" появилась телеграмма под заголовком "Руль временно лишился языка", с гордостью удостоверявшая, что "разгром произведен был революционными рабочими".

Такие инциденты всегда бывали и служат как бы принадлежностью газетной профессии, с ними приходится считаться, а тем более теперь, когда после страшной войны самоуправство широко разлилось и получило покорное признание.

"Э да что тут разговаривать!" — становилось обыденным лозунгом и на верхах германского общества: Бернгардт хвастал пощечиной, влепленной политическому противнику на избирательной кампании; сыновья депутата рейхстага избили на улице собачьим хлыстом коллегу их отца; убиты были предтечами Гитлера министры Эрцбергер и Ратенау...

В беженской среде, лишенной на чужбине всякого самостояния, душевно неуравновешенной, такие подвиги должны были находить звучный отклик, возбуждая желание подражать им, и это обрушилось на "Руль" тяжелой драмой.

28 марта 1922 года в Берлине должна была состояться лекция П.Н.Милюкова, на котором патентованные патриоты все настойчивее сосредоточивали открытую ненависть и сделали из него себе мишень. К этому времени наше расхождение с Милюковым уже вполне оформилось: на устроенном в Париже съезде он и Набоков скрестили шпаги, и в результате часть к.-д. вошла в образовавшийся, наконец, Национальный комитет ("коалиция направо"), часть — в Учредительное собрание ("коалиция

налево"). Тем не менее утром этого рокового дня Набоков встретил меня в редакции вопросом: "Как Вы думаете, уместно ли напечатать это приветствие Павлу Николаевичу?" — и протянул мне два узеньких листочка, исписанных его изящным заостренным, уверенным почерком. Приветствие проникнуто было глубоким уважением к выдающемуся политическому деятелю и дышало надеждой на восстановление былого дружеского согласия.

Я был очень обрадован и, поехав на условленное свидание с Милюковым, захватил с собой свеже отпечатанный номер "Руля" с этой заметкой. Милюков, однако, был непреклонен: "Нет, И.В., примирение невозможно. Вам удавалось удерживать Набокова рядом с собою до революции, но она вырыла глубокую пропасть, и мы оказались на противоположных краях ее".

Как ни доказывал я, что расхождение не имеет под собою реальной почвы, как ни убеждал откликнуться на призыв к примирению, Милюков твердо стоял на своем.

Вечером зал Филармонии был переполнен. Слухи о намерении правых устроить скандал породили напряженную атмосферу, но докладчик встречен был горячими аплодисментами. Как всегда, спокойно и уверенно излагал он мысли свои, весь ими поглощенный, и в течение часовой речи не раздалось ни одного протеста, не произошло ни малейшего нарушения порядка. Можно было думать, что слухи раздуты паникерами. Но как только объявлен был перерыв и предложено желающим задать вопросы оратору сделать это в письменной форме, несколько человек бросилось вперед, двое из них что-то выкрикивали, и вдруг блеснул выстрел. Окружавшие Милюкова увлекли его из зала, Ка-

минка и Набоков бросились к стрелявшему, Набоков схватил его за руку, тот сопротивлялся и оба упали на пол. В этот момент подбежал другой, тоже выстрелил и, высвободив своего товарища, бросился с ним к выходу. Все это, думаю, потребовало не больше одной минуты и так быстро промелькнуло, что я не решился бы настаивать на точности и последовательности своего изложения.

В память врезались отдельные моменты: громкий тревожный гул в зале, заставивший обернуться, и я удивился, увидев, что все еще оставшиеся в зале лежат со втянутой в плечи головой — это, очевидно, уроки войны — на полу и ползком пробираются к выходу, стулья сдвинуты со своих мест, большинство опрокинуто. В этот момент еще и в голову не приходило, что Набоков убит наповал, что выстрел сделан был в упор в спину. Помню вестибюль, истерические выкрики дамы, показывавшей на двух, пытавшихся улизнуть молодых людей, настаивавшей, что это и есть убийцы. Совсем уж не мог бы объяснить, как очутился в какой-то комнате, где на полу у стены лежал мертвый Набоков. До сих пор не могу забыть, как меня поразила тяжелая неподвижность его. В другой комнате, в углу, за окружавшими его друзьями, стоял Милюков, серьезно спокойный, а посреди без пиджаков, в широко расстегнутых окровавленных рубашках, с каким-то недоумевающим взглядом стояли Л.Е.Эльяшев и д-р Аснес.

Мне хотелось еще раз поближе и пристальнее вглядеться в погибшего друга, но полицейский уже не пустил в ту комнату, и резанул его ответ на настойчивую просьбу: ''Er ist furchtbar zugerichtet''. (Он слишком изуродован). Это слово — zugerichtet — показалось оскорбительно неуместным.

В коридоре я столкнулся с прихрамывающим Каминкой — в него рикошетом попала одна из пуль — и был поражен вопросом: "Что с Набоковым?" Как же он не знает?! Не помню, ответил ли я что-нибудь, но он догадался и буквально остолбенел, что меня опять удивило, потому что мне хотелось что-то делать, двигаться...

— Что же теперь делать, — спросил я его, — как сообщить семье, как перенесет она такой страшный удар, как подготовить ее к такому ужасному сообщению?

Эта забота совсем поглотила меня и она-то, по-видимому, и вызвала благодатное в корне своем чувство самозабвения, отречение от своих ощущений перед великим горем близких людей.

Слышу настороженное молчание в плохоньком кафе (напротив Филармонии), из которого я позвонил по телефону — там, очевидно, догадывались, что разговор относится к убийству. У аппарата был Сирин, которого я просил приехать с матерью в Филармонию, и он ничего не спросил. Впоследствии я узнал, что он только что вернулся домой и, сообщив матери о своей помолвке, читал ей стихи...

Тем временем двери здания были заперты, и мы шагали взад и вперед по улице. К нам подъехал автомобиль и шофер сообщил, что отвез несколько человек куда-то, — без шляп и пальто — не участники ли они преступления? Кто-то отправился на разведку: нет, это не участники, а так, испугавшиеся, что предпочли бросить верхнее платье, чтобы не задерживаться в гардеробной — мало ли что еще случиться может.

Наконец, мы увидели безмолвно вышедших из такси вдову с Сириным, и я не узнал всегда безза-

ботной, жизнерадостной Елены Ивановны, меня испугали сухие глаза ее и напряженно сосредоточенный вид: сможет ли она справиться с тяжестью горя, не изливающегося наружу слезами? (Она и не выдержала — страшный удар выковал в ней новую психологию и растворил двери к Богу). Смиренно покорилась она запрещению полиции взглянуть на мужа, и в томительном молчании я отвез ее домой.

Между тем профессиональная привычка уже вступала в свои права. Не помню, где я прочел, что Цицерон, потрясенный смертью своей дочери Туллии, забыл свое горе, перебирая в уме прекрасные слова, которые можно сказать по этому поводу. Так и у меня сверлило внутри, и, едучи от Набоковой к Каминке, тоже раненному в ногу, я уже разменивал чувства свои на слова и фразы, которые предстояло напечатать в завтрашнем номере газеты, ибо для читателя la séance continue.

Так в эту страшную ночь спать и не довелось, но я думаю, что невозможность остаться в ночной тишине наедине с самим собой сохранила силы для сопротивления напору сложных стремительных впечатлений следующего дня.

Он начался в редакции с суеты, совершенно невообразимой: накануне заготовленный материал нужно было отбросить и весь номер посвятить памяти дорогого товарища. Беспрерывно звонил телефон, спешили читатели и немцы с выражениями соболезнования. Из полиции требовали немедленного приезда для дачи показаний и с трудом согласились отсрочить до окончания редакционной работы.

Рьяный кадет Гурович настаивал на устройстве заседания к.-д. группы — "пока Милюков здесь, смерть Набокова требует пересмотра наших вза-

имоотношений. Эта кровь не должна пролиться даром".

После бесконечного допроса в полицай-президиуме — любят немцы обстоятельность — я попал на это заседание в 6 часов, но оно длилось недолго: Милюков торопился на званый обед к Бернгардту и не обратил никакого внимания на выраженное мной сомнение, уместно ли это в столь траурный день — некоторые из приглашенных германских министров и не явились.

Само по себе заседание было совсем бесцельным: кажется, только один Гурович говорил, источая громкие слова о крови, которая должна примирить и т.п.

После бесцельного заседания ожидал еще один крупный сюрприз: вечером я заехал проведать Каминку, которого врач уложил в постель, застал его в очень подавленном состоянии и выслушал заявление, что он отказывается от дальнейшего участия в газете и предполагает (если я не возражаю) передать ее сотрудникам, чтобы они вели ее самостоятельно, как хотят. Я ответил полным согласием, но уже на другой день Каминка взял назад свое предложение, объяснив это настояниями близких людей, доказывавших, что нельзя бросать столь важное с общественной точки зрения предприятие.

Место Набокова занял двоюродный брат Каминки Г.А.Ландау, человек большого ума и исключительной образованности, благороднейший и приятнейший товарищ. Только благодаря таким выдающимся качествам возможна была долголетняя совместная работа при существенной разнице в оценке русской катастрофы: он противополагал большевистский переворот событиям 1905-1906 гг., как смуту, "бессмысленный бунт" — революции, огу-

лом отрицал и рьяно набрасывался на все попытки отыскать закономерность, уловить смысл в стихийных потрясениях. Я же, напротив, жадно всматривался во все проблески в этом направлении и отдыхал на них мятущейся душой.

Вопреки отмеченным неблагоприятным условиям, обставившим рождение "Руля", большой успех его был бесспорным и значительно превысил наши ожидания. Тираж газеты сразу перевалил за 20000 экземпляров, но меня больше интересовало, что газету выписывали буквально во все части света, и проникала она в такие места, о которых не только не приходилось слышать, но название которых, как например Малапера или Марапарибор, неизменно напоминали солдатика из "Войны и мира", передразнивавшего французскую речь: "Кари, мала, тафи, сафи..." — совершенно загадочным казалось присутствие в таких местах соотечественника, испытывающего потребность в русской газете.

Беженцы составляли горсточку в четырехмиллионном Берлине и, казалось бы, должны в нем бы раствориться, а сумели они так намозолить немцам глаза, что однажды в "Ульке" — иллюстрированном приложении к "Берлинер Тагеблатт" — появилась карикатура под заголовком "Картина будущего", изображавшая "Курфюрстендаммский проспект" и "Тауэнцивскую улицу", пестрящие русскими вывесками и названиями и редкими надписями в окнах магазинов: здесь говорят по-немецки!

Успех "Руля" вскружил голову Уллыштейнам: в самом разгаре инфляции в моем редакционном кабинете появился неожиданно редкий гость — глава фирмы доктор Ф.Уллыштейн, и, осыпав ком-

плиментами ("у нас говорят, что только в этом кабинете делается настоящая работа"), выразил пожелание скрепить наши отношения, сделав и "Руль" (подобно "Слову" и "Логосу") компанейским предприятием.

Я ответил, что такое предложение очень льстит нам, но "не думаете ли вы, что оно чревато и серьезными неудобствами как для вас, так и для нас?"

— Какое же может быть неудобство?

— Сейчас мы чувствуем себя независимыми и свободно, полным голосом выражаем суждения о международном положении и взаимоотношениях. Если же за нами будет стоять немецкий капитал, нас будет стеснять подозрение в предвзятости в пользу Германии, и мы утратим уверенность и прямоту.

— Пожалуй, вы правы. А какое же неудобство для нас?

— Вы ведь не отказываетесь от мысли открыть себе рынок в России для сбыта журналов и, в особенности, выкроек. Участие в издании "Руля" может послужить препятствием для получения от советской власти соответствующего разрешения.

— Это предусмотрительно. Я с вами согласен, но в таком случае мы желали бы несколько изменить условия договора в нашу пользу, повысить ставки участия в прибылях и удлинить срок его действия.

Нужно было обсудить это домогательство с Каминкой, но он и слушать не стал:

— Конечно, согласитесь. Ведь мы не ищем прибылей от издания. Бог с ними. Лишь бы дальше вести борьбу с большевиками.

Вот и этот второй договор от 20 апреля 1923 года лежит перед глазами, и трудно без стыдливой улыбки перечитывать, что для различных частей его,

по требованию наших контрагентов, установлены были сроки действия до 1930 и даже до 1940 года.

Да, мало было предвидения в таком ухарском определении сроков. Фактически, в тот момент, когда мы подписывали новый договор, "Руль" был уже обречен: отчасти по моей вине, потому что я своевременно не доглядел, а Каминка и вообще не заглядывал в отчеты, представляемые нам Улльштейнами, отчасти же в силу общих условий. Отчеты составлялись ежемесячно, но каждый месяц цифры имели совершенно различное значение, которое, однако, в полугодовом и годовом балансе полностью игнорировалось. Таким образом, если, например, январь оставлял некоторую прибыль, выраженную пятизначным числом, скажем — 10000 марок, и февраль закончился с прибылью, но уже, благодаря инфляции в 100000, которые в переводе на иностранную валюту могли быть меньше январских десяти, а в марте уже считали на миллионы, — то при самом незначительном убытке, ни в какое сравнение не идущим с накопленной прибылью в десять и сто тысяч, и пустяшный убыток сразу и бесследно всю прибыль поглощал — тощие коровы пожирали толстых. Но еще стыднее признаться, что я ни разу не заглянул в отчеты типографии, пока "Руль" не попал в затруднительное положение. Тогда лишь выяснилось, что по договору типография должна была работать по себестоимости, в действительности же это условие никогда не соблюдалось, в счетах фигурировали твердые, произвольные цены. По моему настоянию в заседание наблюдательного совета приглашен был заведующий типографией и главный бухгалтер и он, вместе с обоими директорами, открыто признали, что моя претензия основательна и что договор нарушался.

Несмотря на все наше головотяпство, именно 1923 год — последний головокружительный год инфляции (15 октября была декретирована дефляция) закончился прибылью, исчисленной в 20000 марок, уже полноценных. Под влиянием успеха решено было, по образцу берлинских газет, издавать еженедельное иллюстрированное приложение "Наш Мир", потребовавший дополнительных расходов.

С большим любопытством перелистываю теперь этот том, который я всячески силился наполнить отображением фантастического быта эмиграции, с одной стороны, и радикальных изменений, происходивших в России. Куда это все девалось? Что осталось от затейливого калейдоскопа? Были ли, в самом деле, эти переполненные студенческие аудитории в европейских столицах? Как торжественно изображает фотография открытие Научного Института в Берлине или конференцию ОРЭСО — кто теперь расшифрует это обозначение? А вот генерал Кутепов с обнаженной головой пожимает руку А.В.Карташеву перед фронтом остатков врангелевской армии в галлиполийском лагере. Рядом снимок походной церкви в Египте, беженцы в Австралии, русские легионеры в Феце, союз русских студентов, в Бразилии, русский инженер в диких лесах бельгийского Конго среди людоедов, русские эмигранты в Аргентине...

Ну а там, на родине? Ба! Знакомые все лица. На снимке всемогущего "политбюро": Каменев, Троцкий, Зиновьев, Томский, Бухарин, Рыков, Сталин. Каким презрением облили бы они кудесника, который дерзнул бы предречь им их участь...

Вслед за иллюстрированным приложением родился новый план — издавать ежегодник "Руля"

(как было в "Речи"), который дал бы по возможности полную картину эмигрантского быта. Я горячо принялся за подготовку этого начинания. Мы разослали анкету во все известные нам организации с просьбой ответить на вопросы: наименование организации, задачи ее, год основания, число членов (по возможности, возрастной, вероисповедный и сословный состав), в чем выразилась деятельность, количество беженцев в районе организации, время их появления, прилива и отлива, правовые ограничения беженцев. Несколько ответов — из Японии, Бразилии, Рима, Вильны — у меня сохранились (вероятно, это были запоздалые), основную же массу я направлял в Прагу одному из наших молодых талантливых сотрудников Недзельскому, который взялся написать главную статью о беженстве и с необычайной быстротой прислал не статью, а целую книгу, насыщенную интереснейшими данными — она давала яркую картину быта и настроений, и притом не головки, а беженской массы.

Однако, издать Ежегодник не пришлось, напротив — преждевременной смертью умер и "Наш Мир". Теперь представляется непостижимым, как можно было затевать расширение газеты, строить новые планы, когда уже нельзя было не слышать раскатов надвигающейся катастрофы.

После дефляции русский Берлин стал быстро пустеть. Читаю в старой тетради: "Русский Берлин несомненно замирает. Уже нет даже никаких "дискуссий", резко прекратилась партийная борьба, все юркнули в свои норы". Нас ударило в хвост и в гриву — тираж стал неуклонно сокращаться и количество объявлений неудержимо падать. Некоторым источником оставались извещения о смерти богачей: чем крупней было оставленное наследство,

тем объемистей и широковещательней, непременно на первой странице, на месте, предназначенном для важнейших политических известий, объявлялось о покойнике прямо или косвенно заинтересованными лицами и благотворительными учреждениями, питавшимися от его щедрот. Но для газеты каждый покойник знаменовал незаменимую в ограниченном numerus clausus утрату подписчика, а то и объявителя, если с его смертью ликвидировалось торговое предприятие.

Огромное значение имело то, что, как сказано, все юркнули в свои норы, и внимание все сильней отвлекалось в сторону тревожной борьбы за существование. Последствием было постепенное умаление интереса к событиям на родине, которого я своевременно не заметил и не оценил. Для "Руля" судьбы России оставались на первом плане, отодвигая в тень все остальное: да и как же иначе, если именно тогда стал определяться обильно нагнетаемый личным честолюбием, а то и еще более мелкими страстями, принципиальный раскол среди преемников Ленина, и сквозь едкий туман пока еще словесных обличений и споров (свершалась ли "измена революции" или развивалось "строительство социализма в одной стране") смутно начали обрисовываться пути и намерения злокозненной насмешницы истории. Со всем увлечением мы старались распознать эти пути, вскрыть подспудные намерения, а читатель искал отдохновения от забот в разгадывании крестословиц, в детективных романах, превративших занимаемую ими последнюю страницу газеты в первую, в центр интересов.

Вот этой-то перемены я и не заметил своевременно, отчасти, впрочем, сознательно игнориро-

ровал, а читатель, в свою очередь, проявлял все больше упрямства.

Конечно, и Улльштейны не могли в конце концов не заметить происшедшей перемены, тем более что после дефляции иностранная валюта сразу утратила свой соблазн, и отношение фирмы к "Рулю" соответственно стало меняться.

Первый намек я получил от моего приятеля Кнолля: он доверительно сообщил, что приехавший из Японии через Россию корреспондент "Фоссише Цейтунг" доктор Зальцман в докладе о своих впечатлениях, между прочим, указал, что произведенное революцией социальное перепластование стабилизировалось и что, какова бы ни была дальнейшая судьба революции, — никакой роли эмиграция не будет играть в новой России.

— Это суждение, — прибавил Кнолль, — произвело на братьев Улльштейн очень сильное впечатление.

Вслед за сим в Берлин приехала талантливая фельетонистка, очень красивая Лариса Рейснер, дочь бывшего томского профессора — сотрудника "Права". После революции она стала видной сотрудницей "Известий".

Среди разных достопримечательностей Берлина ей показали Улльштейновское предприятие, которое она и описала потом в "Известиях" в иронически презрительных тонах, как желтое издательство, угождающее вкусам толпы и держащее нос по ветру. Между прочим, она отметила, что, хотя Улльштейн и понимает уже, что революция одержала победу, но на всякий случай считает не лишним перестраховаться, и потому-то в одном из уголков огромного здания и приютил редакцию "Руля" — авось пригодится.

Мне прислали номер газеты в Мариенбад, где мы были в это время в отпуску вместе с Каминкой и, прочтя фельетон, я сказал ему:

— Это последняя капля, несомненно — статья Рейснер будет доведена до сведения Улльштейнов, и они, так или иначе, но расторгнут договор с нами. Юридических оснований для этого у них нет, но судиться с ними мы же не станем.

Предчувствие оказалось правильным: только мы вернулись в Берлин, как ко мне явился Кнолль и, начав весьма издалека, осторожно подходил к цели беседы. Я прервал красноречие, сказав, что ожидал этого и что, хотя со стороны Улльштейна расторжение договора является нарушением, мы не будем стоять на юридической почве, потому что в положении нежелательных партнеров ни одного часа не хотели бы быть.

Ответ видимо поразил его — как можно отказываться от своих прав, стерпеть одностороннее нарушение их. Мы разошлись дружески, получив, если память мне не изменяет, 50 тысяч марок в покрытие причиненных убытков, и начали вести самостоятельное существование, уклонившись от двух предложений приобрести издание "Руля".

Оба предложения были довольно оригинальны. В послевоенной нездоровой обстановке во всех странах появлялись "финансовые гении", феерически превращавшиеся из ничего в мультимиллионеров. В Германии эта атмосфера значительно усугубилась головокружительной инфляцией, вследствие чего здесь это явление получило размеры и формы совсем уродливые: прогремели имена братьев Бармат, братьев Скларек, Кутискера, быстро завершивших бешеную пляску миллионов скандальнейшими уголовными процессами.

Наиболее яркой фигурой из них был директор-распорядитель крупнейшего пивоваренного завода Патценгофер — Каценельсон, тративший через посредство выдающейся драматической актрисы Тиллы Дюрье огромные деньги на большевизанский театр берлинского двойника Мейерхольда — Пискатора.

— Это возмутительно, — рассказывал мне, кипя негодованием, приятель из министерства иностранных дел, — вчера я был на представлении "Распутина". На площади перед театром настоящая выставка роскошнейших автомобилей. В зале все во фраках и белых жилетах, непристойно оголенные дамы сверкают брильянтами и изумляют жемчугами, а на сцене настоящий балаган наглого прославления Ленина и издевательства над старым миром. Можно было бы подумать, что в зале не зрители, а реквизит для пьесы, если бы они не выражали так бурно своего восторга, не подпевали бы радостным хором интернационал, которым заканчивается представление. Плохо это кончится.

В это время А.И.Каминка, помимо активного участия в редакционном сотрудничестве, взял в свои руки и коммерческую часть издательства. Начались беспрерывные обсуждения составляемых балансов и смет по принципу — по одежке протягивай ножки, т.е. приспособления расходного бюджета к доходному. А так как доходы неизменно падали, то приходилось постепенно уменьшать и расходы. Сокращения, конечно, не могли не отражаться на содержании газеты. Это вызывало умаление интереса к ней читателя, которого стабилизация советского режима делала все более равнодушным к известиям с родины. Выходило таким образом, что мы сами ускоряли приближение пе-

чального конца — мне это представлялось вполне ясным, но возражать против самоубийственной нашей тактики было трудно, поскольку моментально вставал вопрос: а где же взять средства на покрытие убытков?

К этому вопросу внимание приковывалось все настойчивее. Наиболее естественным казалось обратиться к проф. Гетчу: влиятельный депутат Рейхстага и прусского ландтага, знаток России и сторонник союза с ней Германии, принципиальный антибольшевик, внимательный читатель "Руля", он ко мне относился с большим интересом, устраивал мои доклады на немецком языке, преувеличенно восхищался ими. Поэтому было неожиданностью, когда за завтраком, к которому я его пригласил и который начался дружеской беседой, он не только решительно отказал в каком бы то ни было содействии, но так недвусмысленно уклонился от разговора на эту тему, точно одно прикосновение к ней ставит его в неудобное положение.

Между тем финансовое положение газеты неизменно ухудшалось, не помогало и самое резкое, явно вредное сокращение расходов. Несмотря на то, что Каминка стал щедро поддерживать "Руль" из своих средств, пришлось прибегнуть к частной благотворительности. В сохранившейся письменной справке значится, что я внес в кассу в течение одного 1928 года около 18 тысяч марок, добытых разными частями у отдельных лиц. Это было нелегко — в наиболее благоприятных случаях приходилось выслушивать заявления, что "Руль" меня не касается (или — не интересует и т.п.), я даю лично вам". Один самодовольный миллионер, скупивший огромные участки земли в окрестностях Берлина, сопроводил пожертвование внушительным нраво-

учением: "Чек я вам выпишу. Но не могу не сказать, что человек или предприятие, которое на своих ногах стоять не может, ничего не стоит, и бессмысленно его поддерживать".

Зато другой богатей, торговавший лесом с Россией, отечески успокаивал: "Чего вы так волнуетесь? Несколько лет назад, когда Германия была прибежищем эмиграции, парижская газета была в тяжком положении и обращалась за помощью, а вот теперь вернула ссуду. Наступят такие времена и для вас!"

Конечно, надеяться на наступление "таких времен и для нас" не было ни малейших оснований. Причины финансовых затруднений были неустранимы: дороговизна после дефляции при низкой цене парижских газет, постепенное уменьшение числа беженцев, умаление интереса к судьбам родины, денационализация молодежи — все грозно вооружилось против нас и парализовало самые энергичные усилия. Молниеносный крах русских издательств заметно отразился и на некоторых немецких типографиях, приспособившихся для них и питавшихся их заказами. В поисках работы собственники таких типографий, не разбираясь в создавшейся безвыходной обстановке, соглашались на самые льготные условия печатания вплоть до приобретения паев "Руля" посредством удержания части платежей по счетам. Спустя некоторое время наступало разочарование, но тут подвертывался другой охотник, от которого случалось возвращаться к предыдущему, желавшему или вынужденному повторить неудавшийся опыт в совсем не немецком расчете на авось. Таким образом "Руль" стал вести кочевой образ жизни, меньше всего, конечно, способный содействовать улучшению положения.

В эту томительную маяту газеты бурно ворвалось и личное несчастье: числа 20 ноября 1930 года, только что приехав в редакцию, я вдруг почувствовал мучительные боли в области живота, каких еще никогда не испытывал. Меня отвезли домой, вызванный врач впрыснул морфий и на другой день все прошло. А примерно неделю спустя внешне то же самое случилось с женой, и тот же врач повторил тот же прием. Вечером у Каминки было назначено одно из бесчисленных заседаний для обсуждения положения ''Руля'', но я отказался прийти, как он ни уговаривал — меня охватило мрачное предчувствие. К ночи боли у жены возобновились, вновь явившийся врач только тут понял допущенную ошибку диагноза, потребовал немедленного вызова хирурга. Под утро была произведена операция, а в ночь на 1 декабря жена скончалась.

Этот удар совсем вышиб меня из привычной колеи, последствием чего явилось апатичное безразличие, переходившее по отношению к ''Рулю'' в глухую неприязнь, питаемую необходимостью держать бодрый и веселый вид. Как трудно было после острых переживаний крушенья почти сорокалетней семейной жизни возвращаться, через две недели перерыва, в ничем не изменившуюся редакцию, начинать сызнова и повторять все то же и то же. Но если при создании ''Руля'' я имел в виду помочь Набокову наладить издание и, воспользовавшись первой возможностью, отстраниться, а неожиданная смерть его эти намерения ликвидировала, то теперь не могла прийти в голову мысль покинуть обреченное детище, да и сильно смущала перспектива стать безработным после более чем тридцатилетней волнующей и захватывающей редакторской деятельности.

Хотелось прежде всего, какой угодно ценой, хотя бы отдачей в чужие руки, сохранить жизнь "Руля", закрыв глаза на мрачную перспективу. В свое время произвел сильное впечатление рассказ о Направнике, который, выпустив из рук дирижерскую палочку, тотчас захирел и умер. В расцвете своей деятельности, страдая нервными сердечными припадками, я позорно боялся смерти. С годами припадки эти прошли, и теперь, напротив, в тяжелые минуты копошилось ощущение, что я так никогда и не умру. Но именно это нелепое ощущение делало напоминание о Направнике еще более страшным.

Тем временем явился претендент в лице группы "Крестьянской России", издававшей тощий ежемесячный журнальчик. За кратковременную жизнь группа успела уже пройти через разные превращения — была и мимолетная "коалиция" главарей с Милюковым.

Возглавлялась она бывшими эсерами — милейшим Аргуновым (несколько позже он отряхнул пыль этой организации от ног своих), и грузной неуклюжей, наспех сколоченной, бесцеремонно шумной фигурой С.С.Маслова, которого Милюков весьма удачно назвал "опереточным заговорщиком". Все было у него построено и рассчитано на эпатирование — и пышный претенциозный (под Герцена) заголовок "руководящих" статей в журнале: "Думы и зовы", и непрерывно, кстати и некстати повторяемое y e s , и навязчивая таинственность: "Я никогда не могу знать, куда меня завтра позовут — могу очутиться в Париже, но столь же легко в России".

Председателем берлинской группы, состав которой не требовал уменья считать дальше десяти, был

наш сотрудник, ведший и эти переговоры. В данном случае речь шла только о совместном издательстве, для чего группа обязывалась внести, помнится, 18 тысяч марок и в дальнейшем участвовать в половинной части расходов. Источника своих средств партнеры эти тоже не называли, но и здесь тайна стала секретом полишинеля, потому что живший в Белграде бывший нововременец А.И.Ксюнин направо и налево хвастал, что деньги добывает он от югославского правительства. Я впервые услышал об этом тогда, когда коалиция наша была давно в спотыкающемся ходу, от директора театра "Синей Птицы", которому Ксюнин похвалялся своим могуществом.

Но, Господи, за этот скромный счет в 18 тысяч марок, сколько же было совещаний и заседаний, как торжественно возглашал Маслов открытие ежемесячной "сессии Совета", когда ему, вперемежку с Каминкой, приходилось председательствовать. Да и немудрено: нужно же было не только договор компанейский составить, который ни с того ни с сего назван был "Gentleman agreement", но — шапки долой! — выработать еще и политическую и экономическую программу будущего устройства России.

К обсуждению программы, теперь, когда под ногами не ощущалось почвы, представлявшемуся игрой в бирюльки, я относился пассивно, а когда речь зашла о конкретных "реформах" "Руля", я оставался один: Каминка, ревниво оберегавший мои интересы, действовал закулисно, в заседаниях же держался роли супер-арбитра и воздерживался от высказывания своего мнения, а Ландау большей частью соглашался с партнерами.

Сильней всего взволновало предложение ставить

подпись автора под передовой статьей. Не думаю, чтобы мое резкое противодействие объяснялось привычкой, рутиной: газета должна быть монолитным живым организмом — это и выражается в передовой (или руководящей) статье, содержащей, как пояснено в толковом словаре Даля, обзор событий и их значение. Подпись отдельного лица, с одной стороны, умаляет авторитет сказанного, а с другой — звучит нескромностью, тщеславием.

Другим болезненным пунктом было настояние расширить круг сотрудников. Для выражения происшедшей редакционной перемены мы воспользовались формулой, введенной "Правом" в русскую журналистику — в заголовке газеты стояло: "Руль... под редакцией А.А.Аргунова, А.П.Бема, И.В.Гессена, проф. А.И.Каминки, проф. А.А.Кизеветтера, Г.А.Ландау, С.С.Маслова и В.Е.Татаринова". Но от восхитительной вдохновляющей атмосферы "Права", от дружеского соперничества в пестовании его ни следа не осталось — мы находились на противоположном полюсе. К тому же компаньоны настояли на замещении поста управляющего конторой тоже стажером Крестьянской России, ровно никакого представления об издательском деле не имевшим и на манер щедринских градоправителей взявшимся наводить порядок, а в донесениях в Прагу (откуда наши новые коллеги лишь наезжали в Берлин) "освещать" не только издательские, но и редакционные непорядки.

Все это выяснилось постепенно, но уже при торжественном скреплении подписями "агримента", через три месяца после смерти жены, у меня было ощущение вторых похорон.

Не могу объяснить, почему я сразу не ушел, вероятно, из-за ослабления воли, обострившей до

пассивности всегда свойственную мне нерешительность, расчет на авось. Но с каждым днем нелепость такого расчета становилась все более яркой, и я просил Маслова подождать с дальнейшими "реформами" до конца года, когда я уйду. Он принял это известие с нескрываемым удовольствием и поспешил довести до сведения Каминки, прежде чем я сам собрался с ним поговорить. Каминка справился у меня, насколько такое намерение является окончательным, и на утвердительный ответ мой сказал:

— В таком случае я предоставляю "Руль" его судьбе.

Это еще укрепило мое решение, потому что я уже неоднократно в беседах с другом моим говорил, что меня смущают чрезмерные усилия, делаемые Каминкой для спасения газеты.

Вместе с тем решение Каминки ускорило катастрофу, которая обогнала мои предположения: уже за два с половиной месяца до конца года — 13 октября — "Руль" бесславно скончался. Только с помощью хитрости удалось выпустить последний номер, чтобы проститься с читателями и выразить уверенность, что "дело "Руля" найдет продолжателей".

Но это был лишь обычный эвфемизм, точно так же, как и обещание высылать внесшим годовую плату подписчикам вместо погибшего "Руля" другую подходящую газету. Об этом не могло быть и речи, потому что в кассе не было уже ни одного пфеннига и издательство объявлено было несостоятельным должником.

Кончина "Руля" вызвала несколько десятков горячих откликов соболезнования у отдельных лиц и беженских организаций, но наиболее ценное не-

забываемое приветствие, тем более дорогое, что оно было совершенно неожиданным, я получил года два спустя, при случайной встрече на благотворительном вечере с г-жей Парамоновой. Крепко пожав мне руку, она с покоряющей искренностью и взволнованностью сказала:

— Как я рада, что наконец встретилась с Вами. Сколько раз просила я Николая Елпидифоровича (деверь ее) познакомить с Вами, чтобы от всей души поблагодарить за "Руль".

— За что же благодарить? Ведь мы вас упорно обманывали, со дня на день обещая уничтожение советской власти.

— Вот именно за это, оно-то и было так важно и нужно. Вы так умело и настойчиво поддерживали в нас светлую надежду, без которой было бы невозможно прожить эти страшные годы.

А все-таки! Ведь преждевременная кончина "Руля" оказалась как нельзя более кстати: хороши бы мы были, если бы "Руль" дожил до воцарения национал-социалистического режима. Еще задолго до того как Гитлер пришел к власти, его оффициоз "Völkischer Beobachter" точил зубы на "Руль". Когда в журнале невозвращенца Беседовского "Борьба" появилась заметка, что кирилловское движение субсидируется из ГПУ, газета национал-социалистов бесцеремонно показала пальцем на "Руль" как на орган царя Кирилла в Берлине.

При наличности большого числа русских экспертов (достаточно и одного Розенберга) национал-социалистическая газета не могла, конечно, не знать, что "Руль" относился резко отрицательно и вышучивал царя Кирилла, и потому трудно было сомневаться в злостном умысле скомпрометиро-

вать нашу газету, которая ничего хорошего не видела в национал-социализме и — надо сознаться, не верила в его победу. Доживи "Руль" до нее, пришлось бы его закрыть.

Таким образом, приход Гитлера превратил преждевременную смерть в заблаговременную.

ДЕЛА ЭМИГРАНТСКИЕ

Для последних лет, о которых теперь идет речь, к моим услугам имеется такое подспорье, как без малого полный комплект "Руля", изо дня в день запечатлевавший все события и детали нашего бытия. До сих пор, однако, я испытывал невольное отталкивание и лишь украдкой заглядывал в отдельные тома, чтобы проверить зыблящийся в складках памяти эпизод или привести подлинную цитату. Но когда подошел к настоящей главе, вскрывающей блуждающий нерв эмиграции с его двигательными и чувствительными волокнами, я растерялся перед необозримым количеством фикций и загадок с их несуразными сочетаниями, и не устоял: бросился искать помощь в систематическом просмотре "Руля", чтобы выделить и классифицировать наиболее характерное и симптоматическое. Немало оказалось находок, ярко расцвечивающих отслоения памяти, и это доставило большое удовольствие. Но все же мне думается, что погружение в пожелтевшее уже бумажное море "Руля" было опасным соблазном. От него следовало

воздержаться, чтобы не соскользнуть с поставленной цели дать жизненный отчет.

С присущей ему меткостью, Сирин в стихотворении, посвященном памяти Толстого, сказал, что для надлежащего постижения прошлого "людская память должна утратить связь вещественную" с ним. Я же, напротив, вещественную связь, тысячью нитей опутывающую настоящее прошлым, тяжелым хвостом, за ним влачащимся, неосторожно закрепил. Переворачивая страницу за страницей, я переживал прошлое день за днем, во всех частностях и подробностях, все больше поддаваясь соблазну отойти самому в сторону и воспроизвести из напечатанного в "Руле" наиболее характерное, на что в свое время обращал внимание в статьях и заметках. Но это были бы уже не воспоминания, а как бы отрывки из дневника, и притом написанного не для себя, а заведомо для других. Не итог, не жизненный отчет, а отдельные слагаемые, не вспрыснутые мертвой и живой водой горьких слез, роняемых, когда "воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток".

Если допущенная ошибка все же не повлечет за собой вредных последствий, то лишь благодаря перегрузке и отвердению памяти, мешающему действенному восприятию новых ингредиентов. И сейчас я могу сказать наизусть басню Крылова, заученную свыше 60 лет назад, в первом классе гимназии — всякому вторжению было место и предоставлялось оставить борозду, а теперь и с помощью максимального внимания не проведешь ее, и случается, что тобой самим написанное узнаешь не по вложенным суждениям, не по существу содержания, представляющемуся иногда совершенно незнакомым, даже и неожиданным, а по отдельным

выражениям и оборотам. Достаточно было поэтому сделать после просмотра "Руля" небольшой перерыв в работе, чтобы восстановленная вещественная связь с прошлым снова распалась.

Нет, это все отговорки: основная трудность не здесь, а в том, что если вообще последние двадцать лет, как уже было замечено, еще не стали прошлым и никаких перспектив не открывают, — то в частности отношения между "здесь и там", между эмиграцией и властителями России остаются лишь формально варьирующимися, в существе же неизменными с самого возникновения и до сегодняшнего дня. Но есть еще и другая, более глубокая, ибо не количественная, а качественная разница. В предыдущих главах приходилось рассказывать о фикциях на кровавом фоне, фантасмагориях, одна другую сменявших. Но под ними развертывалась и настоящая реальность эмиграции, ее самостояния, самоощущения...

Разворачиваю двенадцатый номер журнала "Новый Град", призывающий эмиграцию к бодрости, активности, к самопознанию — и читаю в нем такие поистине страшные строки: "Мы (эмиграция) как бы теряем весомость, теряем телесность, мы почти что тени. Наше собственное общественное мнение не имеет никакой силы. Может быть, никогда и никто не бывает так вне всего жизненного процесса, как эмигранты". Мог ли кто-либо, будь он трижды Давидом, в таком душевном настроении победить Голиафа!

Мне, с разлагающим скептицизмом, приходилось чрезвычайно тяжело, и как я жаждал, как жадно искал ободрения и обнадеживания. Отлично вспоминаю, с каким удовлетворением отметил в

"Руле" (это было уже в 1927 году, когда победа революции не могла вызвать никаких сомнений) суждение авторитетного иностранного наблюдателя Лео Лондона: "Эмиграция, — удостоверял он в результате путешествия по России, — настоящее бельмо на глазу у советской власти, и она не пожалела бы ничего, чтобы от эмиграции избавиться".

В столь категорической форме такое утверждение представлялось, однако, сильно стилизованным, в глубине души ему с трудом верилось. Поскольку же средства, чтобы от эмиграции избавиться, пускались в ход постоянно, они действовали весьма успешно в моральном ее разложении и ослаблении ее влияния.

В самом начале, а затем под влиянием НЭП'а обнаружилось стремление советской власти даже не избавиться, а напротив — примириться, призвать эмиграцию на помощь, и в моих случайных записях остался отчетливый след подобных стремлений. Так под 30 ноября 1923 г. записано следующее: "Гучков сам рассказывал мне, что к нему приезжал один из его наиболее видных и ответственных сотрудников по военному министерству (Временного правительства) для переговоров о возвращении на родину. Вслед за этим пришлось видеть письмо Троцкого к упомянутому сановнику, письмо, в котором Троцкий предлагал ему вернуться в Россию, оборвав переговоры с эмиграцией".

Вскоре в Берлин пожаловал автор знаменитого "Приказа № 1" Н.Д.Соколов, который своими нарочито резкими повадками, голосом и манерой речи и сиянием самодовольства вызывал представление о чем-то сусально-лубочном, возбуждая непреодолимую антипатию. Соколов мотивировал призыв возвращаться в Россию необходимостью

укреплять нарождающийся ”правый курс”, и я отозвался на его призыв несдержанной статьей, выдававшей задушевные мечтания. Я признавал, что эмиссар советской власти ”явился в подходящий момент. Беженцы истосковались по родине, пребывание заграницей и морально и материально с каждым днем становится труднее”. Но он не приходит с оливковой ветвью, не говорит, что за революцию ответственны все, а потому спешите на помощь русскому народу, нет — у него поручение среди многих званых найти избранных и с каждым в отдельности сговориться, отделить ”козлищ от овец по признакам, установленным благородным ГПУ”. Отсюда я делал вывод, что ”как ни тяжело положение беженцев и как ни велико тяготение к родине, но, увы, час возвращения еще не пробил, придется еще пострадать, дорога открыта только для угодных ГПУ”.

Усилия Соколова (несомненно не единичные), обращенные — нужно оговориться — не к массе, не к толще эмиграции, а к ее верхушке, к избранным, не остались безуспешными. На ”советскую платформу” сразу же перешло несколько членов Союза литераторов: Алексей Толстой, в пользу которого еще так недавно я устраивал литературный вечер в своей квартире, горячо преданный сотрудник ”Руля” А.Дроздов, испытывавший, правда, большую нужду; Роман Гуль, давший в ”Архиве Русской Революции” яркое описание одного из эпизодов гражданской войны, и еще несколько человек. Их сотрудничество в недолговечном советском ”Накануне”, выходившем под редакцией прожженного Кирдецова, бывшего трубадура северо-западного правительства, дало основание поставить вопрос об исключении этих лиц из состава

эмигрантского профессионального союза. Но уйти добровольно они не хотели, напротив — в бурном общем собрании отстаивали свою позицию так вызывающе, что нельзя было не заподозрить задних мыслей. Как потом один из вернувшихся в лоно эмиграции уверял, цель состояла именно в том, чтобы, добившись исключения, обжаловать это постановление в суд, перед которым и устроить публичное состязание между Давидом и Голиафом.

Точно так же в Союзе инженеров произошел раскол, закончившийся демонстративным выходом целой группы членов, стоявших на старой платформе.

Больше всего огорчил звучный отклик, который советские эмиссары нашли у эмигрантской молодежи. Помню всеобщее смущение при получении известия о переходе на советскую платформу возглавлявшего общестуденческий союз (ОРЭСО) Влезкова вместе с несколькими членами правления. Обидно это было потому, что, как мне казалось, их не столько прельщал советский соблазн, сколько обескураживала наша беспочвенность, я бы сказал — неприкаянность, распад, принимавший уродливые формы.

В "Руле" под заголовком "Эмигрантский интернационал" напечатана была карикатура, изображавшая беженца, отвечающего на официальную анкету: "Моя жена латышка, старший сын — поляк, дочь — эстонка, второй сын — литовец, я сам — румын". Думаю поэтому, что молодежь устремлялась на призыв по правилу — хоть горше, тай иньше. И действительно, когда они на своей спине это горше испытали, — многие вернулись обратно.

Неожиданную — и тем более мощную поддержку проповедь возвращенства получила изнутри

эмиграции. В числе высланных за границу был А.В.Пешехонов, член редакции "Русского богатства". Это был один из наиболее характерных представителей русской интеллигенции, напоминавший статуэтку Инсарова, вылепленную Шубиным. Если многие из нас чувствовали себя за границей в безвоздушном пространстве, то для него жизнь вне родной стихии была и физически непереносима; он остался в России, потому что бежать от ужасов большевизма значит заткнуть свои уши, а это "противно моей чести". Так объяснял он в изданной им замечательной брошюре "Почему я не эмигрировал". Подвергнув советский режим уничтожающей критике, вполне совпадавшей с суждениями "Руля", даже в прогнозе подготовляемого большевиками бонопартизма, Пешехонов, однако, утверждал "государственные заслуги большевиков", не побоявшихся совершить "грязную работу восстановления — обманом, железом и кровью — авторитета власти". Для укрепления государственности Россия нуждается в культурных силах, которые только на родине найдут поприще для творческой работы, и нужно наконец рассеять призрак одиозности возвращения домой.

Выступление Пешехонова — трудно уйти от банального сравнения — произвело впечатление разорвавшейся бомбы и вызвало столь же ожесточенную, сколь и сумбурную полемику. Едва ли не самой резкой чертой эмиграции, наряду с витиеватыми призывами к объединению и беззаботным переходом с одной позиции на другую, было ревнивое искание не точек соприкосновения, а, напротив, пунктов отталкивания. Шаблонные интеллигентские термины "правый" и "левый" давно утратили всякий смысл, но, кажется, не было более

страшной угрозы, чем та, что тебя заподозрят в правом уклоне. Запомнилась горькая жалоба Степуна на ”ложный стыд, отсутствие гражданского мужества, собственной мысли и ужасную наследственную стадность”. И разве это было не так? Больно вспоминать, например, собрание представителей одного из объединений общественных организаций, на котором обсуждалось воззвание о пожертвовании в пользу остатков Врангелевской армии на Балканах. После долгого жаркого ораторского состязания, собрание отказалось принять участие в сборе пожертвований, потому что ”всецело сочувствуя воззванию, усмотрело в его структуре политическую тенденцию”.

Даже исчезновение генерала Кутепова послужило поводом для остервенелой полемики между ”Последними Новостями” и ”Возрождением”, которое с пеной у рта оспаривало у противника белого движения право на интерес к похищению белого генерала. Думаю, что в этом жадно искомом отталкивании кроется основная причина сумбура, овладевшего нашей полемикой, спорами, дискуссиями и т.д.

Так было, конечно, и в отношении ”возвращения на родину”. Газетная полемика только запутывала вопрос все больше и больше, оставалась надежда, не поможет ли непосредственный живой обмен мнений. Я пригласил содокладчиками двух высланных из России профессоров, Айхенвальда и Карсавина, подлинных антиподов. Айхенвальд был органическим противником всякого насилия, через которое его нежная чуткая душа никак не могла перешагнуть. Отсюда непримиримая, буквально всепоглощающая ненависть к большевикам. Как раз в это время приехал в командировку в

Берлин 22-летний сын его, уже профессор политической экономии, выпустивший книгу, пользовавшуюся в России сенсационным успехом — она разошлась в сотнях тысяч экземпляров. Он преподнес экземпляр отцу с надписью: "Неисправимому отцу со слабой надеждой ознакомить "Руль" с настоящей русской действительностью".

Увы! Действительность грозно ответила ему: через два-три года книга была объявлена ересью, изъята из обращения, сам он арестован и, если жив еще, томится в каком-нибудь изоляторе. Но это случилось уже после ужасной смерти Ю.И.Айхенвальда. Тогда же сын находился в апогее славы, и помню, как я был поражен, когда, показывая полученный от сына дар, Ю.И., трогательно заботливый, любящий семьянин, говорил о сыне, как о человеке чужом и чуждом — узы кровного родства бесследно испарились в горниле ненависти к стороннику насилия.

Другой докладчик, Л.П.Карсавин, внешне напоминавший Владимира Соловьева — в уменьшенном виде, не уступал Айхенвальду ни по уму, ни по всестороннему образованию, ни по литературному таланту, но резко отличался, противостоял ему демонстративно покладистым отношением к жизни, граничившим с непризнанием, издевательством над всем святым. Так ли, однако, оно подлинно было или же это был маскарадный костюм на обнаглевшем после войны базаре житейской суеты — я бы ответить не решился: за второе говорило, что, усматривая в большевиках спасителей русской государственности, он не склонился перед советской властью, был арестован и, как сказано, выслан.

На докладе перед переполненной аудиторией Карсавин, в иной форме и другим тоном, высказы-

вал те же мысли, что и Айхенвальд. И тот и другой резко осуждали большевиков (”уголовники”, по выражению Карсавина), оба высказывались против возвращения, как связанного с унижением человеческого достоинства.

”Возвращаться, — по мнению Карсавина, — следует лишь для свержения большевиков”. Но Айхенвальд вместе с тем говорил о высокой миссии эмиграции сохранить культурные традиции, оборванные советским режимом, а Карсавин утверждал, что ”история России совершается там, а не здесь”, и обличал гниение беженцев, приведя в пример, какой успех имели устроенные в Константинополе ”тараканьи бега”.

Эти противоположные уклоны и отвлекли прения от основной темы, дав благоприятный повод: одним — упрекать Айхенвальда в реакционности, другим — уличать Карсавина в большевизанстве.

Я попытался в своем резюме вывести за скобки общий множитель эмигрантского настроения, указав, что ”все сходятся на трех положениях: беженцы только и живут мечтой о возвращении; возвращению препятствует советская власть; возвращение допустимо при сохранении человеческого достоинства. Пора бы отказаться от спора, нужна ли эмиграция России, и заменить его вопросом, нужна ли Россия эмиграции”.

Пока же мы судили и рядили с ”птичьего дуазо”, — на практическую почву возвращенство было поставлено верховным комиссаром по делам о беженцах Нансеном, приобретшим всемирную известность, однако, в другой области. Но тогда специалистов по беженским вопросам еще не выработалось, а с другой стороны, крутая перемена профессий, принципиально установленная советским режи-

мом, нашла отзвук и в послевоенной Европе: разве, например, знаменитый пианист Падеревский не был сделан президентом Польской республики?

К великому негодованию одной части эмиграции и соблазну другой, Нансен вступил в переговоры с советской властью о репатриации, завершившиеся водворением на родину 10 тысяч беженцев. О дальнейшей судьбе их слышать не приходилось, но вряд ли можно сомневаться, что они оказались в первых рядах жертв террора, ярко воспламененного пятилеткой и коллективизацией.

Печальная участь родственника моего может служить точным показателем опасной зыбкости положения возвращенцев, даже при наиболее благоприятном стечении обстоятельств. Речь идет об одном из ''богатых" (как их называли в семье) Гессенов, владельцев волжского пароходства, нескольких страховых предприятий и т.п. Бежав из Петербурга в Финляндию в конце 1918 года, Юлий Исакович стал открытым сторонником Юденича, активно вел антибольшевистскую пропаганду, стоившую ему немалых денег, а после крушения Юденича переселился в Берлин, а затем в Париж. Среди многочисленных служащих прежних его предприятий было до революции несколько меньшевиков, в том числе Лежава, занимавший затем у большевиков видные посты. Приехав заграницу в командировку, Лежава встретился с бывшим шефом и в дружеской беседе жаловался на полную разруху волжского пароходства.

Не знаю, по чьей инициативе, в результате беседы всплыл вопрос, не сдать ли (или не взять ли) это когда-то цветущее предприятие в аренду Гессену. Во всяком случае оба собеседника проявили большой интерес к этому вопросу, и спустя некото-

рое время Гессен получил приглашение приехать в Москву для переговоров.

Предварительно он снесся с известной английской компанией Кунард Лайн, с которой до войны состоял в деловых связях. Теперь фирма выдала ему неограниченные полномочия на заключение, по его усмотрению, арендного договора за ее счет. Узнав об этом, фон Мальцан, тогда статс-секретарь министерства иностранных дел, настоятельно просил Гессена предоставить и Германии участие в этом деле. Со столь ценным багажом Гессен явился к Крестинскому, который, конечно, по инструкции из Москвы, принял его с распростертыми объятиями, чествовал роскошным завтраком и снабдил советским паспортом, на котором, к особому удовольствию и успокоению Гессена, красовалось и разрешение на обратный выезд из СССР.

Быстро, без сучка и задоринки принципиальное соглашение было достигнуто, руководивший переговорами сановник — председатель Госплана Цурюпа мило пошутил: "В сущности ведь ничего необычного не случилось. Было у нас госпароходство, а теперь будет геспароходство".

Когда договор был оформлен во всех подробностях, Гессен отправился — уже с англичанами, в Нижний Новгород для осмотра в затонах инвентаря. Но тут их ждал ошеломивший англичан сюрприз, показательный для советского строя: местная партийная ячейка не только отказалась допустить гостей к осмотру, но предложила по добру по здорову убраться из Нижнего Новгорода вместе с сопровождавшим их сановником из Москвы.

На том дело и кончилось, геспароходство не состоялось. Но потому ли, что Москва чувствовала себя неловко или по соображениям деловым, Гес-

сену предложено было заняться разработкой проекта Волго-Донского канала и приисканием фирмы, готовой взять на себя осуществление этого плана. Нашлась фирма — и притом первоклассная (Юлиус Бергер) и началось ежедневное хождение в берлинское торгпредство для переговоров и переписки с Москвой, которые чем дальше, тем все больше и безнадежней затягивались.

Тем временем упомянутая фирма получила концессию на постройку железных дорог в Персии и, при посредстве Гессена заключила с советской властью договор о транзите материалов через Россию. Фирма назначила Гессена своим представителем в Москве, и он отправился туда — теперь уже на более оседлое пребывание — вместе с женой. Ему было отведено помещение в Метрополе, но не успел он оценить предупредительность советской власти, как, недели через две-три — был арестован и ... только его и видели.

Тщетно жена его, от которой в испуге отшатнулись все родные и знакомые, добивалась узнать, в чем его обвиняют. Ей лишь сообщили через несколько месяцев, что дальнейшие "передачи" излишни. Через некоторое время удалось прочесть в записях крематория, что такого-то числа сожжено тело Гессена. Жену убитого в течение двух лет не выпускали из России под тем предлогом, что "вы ему (т.е. мне) все расскажете, и он поднимет шум в "Руле"!

Это было тем более жестоко и бессмысленно, что она сама ничего не знала, а шум поднят был берлинской печатью, безрезультатно протестовавшей против такого отношения к представителю германской фирмы. Впоследствии же выяснилось, что арест Гессена был эпилогом "геспароходства":

ячейка не удовлетворилась аннулированием заключенного Москвой договора, а предъявила обвинение в подкупе служащих для приведения инвентаря в полную негодность, чтобы заставить сдать предприятие в аренду. И если бы Гессен не умер в тюрьме, то, вероятно, послужил бы первым объектом вредительского процесса.

Особняком стоит метаморфоза Бориса Савинкова, составившая настоящую мировую сенсацию, хотя его предшествовавшие эскапады давали достаточно оснований думать, что от этого бреттера от революции всего можно ожидать. Но на нем почил яркий ореол, которым осиял его ряд дерзких политических убийств. Правда, после разоблачения Азефа, выяснилось что удачей он был обязан именно этому предателю, с которым душа в душу работал и который, оберегая его от Департамента полиции, тем самым отводил от себя подозрения в двурушничестве.

Но и сама по себе авантюрная дерзость отнюдь не гарантирует душевной стойкости и легко может сочетаться с беспринципной непоследовательностью и даже трусостью. При Временном правительстве Савинков занимал разные видные должности вплоть до военного министра, исключен был из партии эсеров за двусмысленное поведение в деле Корнилова, в качестве ярого антибольшевика организовал трагически разгромленное восстание в Ярославле, дальше Колчак назначил его своим представителем в Париже; затем находим его в Польше при Пилсудском — вместе с Философовым и Арцыбашевым он издает в Варшаве эмигрантскую газету; превращается в ревностного соратника буйного головореза батьки Булак-Балаховича, банды кото-

рого совершали зверские налеты на пограничные области России. Когда же в сентябре 1924 года появилось известие об аресте Савинкова при переходе через русскую границу, вместе с бывшим сотрудником "Русских Ведомостей" Деренталем, оно было истолковано так, что Савинков попал в руки провокаторов, завлекших его в западню. Только в "Руле" сразу же было высказано предположение, что тут дело нечисто, что он направился в Россию по предварительному уговору с большевиками.

Действительность оказалась ярче самых недостойных догадок: из опубликованного письма Савинкова к "гражданину Дзержинскому" обнаружилось, что он вел "беседы" с Менжинским и другими сановниками из ГПУ, обещавшими ему "помилование и предоставление работы".

Возможно, что такое намерение и имелось налицо, что и чекистов ослеплял ореол "единственного действенного политического деятеля", как характеризовал Савинкова Мережковский, что участь Савинкова не была предрешена полностью. (К предателям у большевиков влеченье, род недуга: вспомним, как ревниво держался за разоблаченного Малиновского Ленин. Приблизительно одновременно с Савинковым в одном из дореволюционных процессов судили когда-то старого народовольца Окладского, который в 80-х годах был правой рукой Желябова и участвовал в разных террористических покушениях и убийствах. В своем последнем слове на суде Окладский заявил, что не только не просит о помиловании, но счел бы смягчение своей участи за оскорбление. Он и был приговорен к смертной казни, но ... сохранил жизнь ценой перехода на службу в Департамент полиции. Вместо него повешено было много преданных им народо-

вольцев, в том числе цареубийцы Кибальчич, Михайлов, Желябов. Окладский продолжал состоять агентом Департамента полиции до революции, получив последнее жалование в феврале 1917 года, и лишь на восьмом году советского режима был разоблачен. Но при всей кровожадности, на его жизнь большевики не посягнули, а приговорили к тюремному заключению, и кто знает, не продолжает ли он службу в застенках ГПУ).

Добровольно сдавшемуся Савинкову казнь была заменена тюремным заключением, в условиях весьма комфортабельных. С месяца на месяц ГПУ откладывало обещание принять его в лоно советского режима, искатель приключений не выдержал и покончил самоубийством.

Из всех известных мне случаев возвращенства — тут и член кадетского ЦК М.Мандельштам, и видный адвокат Кальманович — я припоминаю только один пример удачи — писатель Алексей Толстой, пользовавшийся официальным почетом и утопавший в деньгах и роскоши.

Жестокая реальность ”возвращенства” не рассеивала фантасмагории, споры наши продолжались и наибольшей страстности достигли после появления в Берлине неугомонной Е.Д.Кусковой, высланной вместе с С.Н.Прокоповичем из России. С каким восторженным лицом, точно открыла секрет спасения родины, шепнула она мне на ухо, что ”будет съезд”, и казалось, что так, по признаку ”шумим, братец, шумим” — она эту перспективу и расценивает.

Сейчас, да будет стыдно, никак не вспомню, состоялся ли съезд, но смешно и странно представлять себе теперь, с каким трудом удавалось поддержание хоть видимого порядка наших бесконечных

совещаний, и как я опасался, что в порыве нетерпимости спорщики вот-вот бросятся друг на друга. Было тем тяжелей, что я не улавливал смысла разногласий, — разница совесных излияний была примено та же, что сказать: театр был наполовину пуст или — театр был наполовину полон. На поставленный вопрос "жива ли Россия", все отвечали утвердительно, но одни приковывали внимание к страшным разрушениям, произведенным революцией, другие утверждали, что Россия все-таки живет и начинает, хоть и медленно, возрождаться. Тщетно взывал я, чтобы "спорщики осторожней выбирали слова, точнее формулировали свои положения, отбросили трафаретную фразеологию и перестали разыскивать виновных, потому что ответственность за случившееся падает на всех нас". Впрочем, ведь и в нормальных условиях издевкой звучит утверждение столь ходкое, будто от столкновения мнений рождается истина. А тут каждым столько выстрадано, так наболело, что он опасается и не доверяет и инстинктивно отталкивается от неосторожного прикосновения.

Еще много сумбурнее было в Париже, где — до курьеза — интересовались не тем, что говорят, а кто выступает. Так, когда появилась брошюра Пешехонова, спор сосредоточился не на ее содержании, а на личности автора, причем один утверждал, что автор остался в России, как герой, а ушел, как обыватель; другой был обратного мнения: остался, как обыватель, а ушел, как герой; третий находил, что и остался и ушел, как обыватель; а четвертый прибег к последней оставшейся комбинации, настаивая, что и остался и ушел, как герой. Право же, я не шучу, так оно и было.

А что сказать о нескончаемой полемике по по-

воду состоявшегося на одном собрании рукопожатия между эсером Авксентьевым и нововременцем Пиленкой. Эта безвкусная пародия на сенсационное рукопожатие между Церетели и Бубликовым на "московском государственном совещании", от которого еще позволительно было ожидать каких-нибудь реальных результатов, теперь дала обильную пищу чисто талмудическим толкованиям: эсеровская газета пояснила, что ее это рукопожатие "так же мало смущает, как жирные поцелуи, которыми советская власть награждает Кускову". Злорадно откликнулся "Социалистический Вестник", возразив, что "поцелуй — акт односторонний, а рукопожатие — двусторонний, в котором Авксентьев не мог играть роль пассивной жертвы". Не тут-то было: эсеры не растерялись, ответив, что "Авксентьев мог пожать протянутую руку безо всякой политики"...

Но самое забавное: когда, переселившись в Париж, я захотел получить об этом инциденте личную справку от Пиленки и Авксентьева, то последний отговорился запамятованием, а первый категорически отрицал весь инцидент, о котором в свое время так много спорили и шумели в эмигрантской печати. Очевидно, десять лет спустя факт этот представлялся настолько невероятным, что разум и логика вытравили без остатка воспоминание о нем.

Не оставляли в покое даже и мертвых: так чествование Плеханова тоже вызвало жестокую склоку среди революционеров. Последователи покойного видели главную заслугу в его борьбе с большевиками и напоминали, что задолго до Ленина эсеры протестовали и предложили заключить мир "без победителей и побежденных" вместо того, чтобы "разбираться в метрических выписях с целью вза-

имного посрамления и уличения, кто кого породил". Плехановцы отвергли почетный мир и привели из сочинений Плеханова ряд цитат, оправдывающих их утверждения. Тогда эсеры приняли вызов и, в свою очередь, разыскали несколько цитат, не оставляющих сомнения, что Плеханов был одним из учителей Ленина. На это последовал ответ, что "существует два Плеханова или разные Плехановы", что так оно и быть должно, потому что покойный был "богатой, даровитой и уже по этому одному меняющейся духовно фигурой", которая готова была поступиться любым демократическим принципом ради "успеха революции".

Точно так же на вечере памяти Н.В.Чайковского возник горячий спор об отношении покойного к Богу. Мережковский и Гиппиус утверждали, что Чайковский "не сразу пришел к пониманию Бога, но носил Его в своей душе", на что Милюков решительно возразил, что "потустороннее его не интересовало и что он был чужд Мережковскому и Гиппиус". — "Неверно, протестую!" — воскликнул Мережковский.

Может быть, если бы в наших спорах принимали участие и большевики, если бы поэтому вопросы ставились ребром, — больше было бы прямоты и решительности, не надо было бы прятаться за дымовую завесу, прибегать к эзоповскому языку. Но большевики от словесных турниров быстро — не знаю, сознательно ли или неумышленно, стали уклоняться, предоставляя эмиграции вариться в собственном соку, и неприятно вспоминать, с каким упоенным самозабвением мы предавались этому, притом не только в области идейной полемики.

Однажды я был поражен визитом едва ли не самого одиозного сотрудника "Нового Времени"

Снесарева, которого и сам Суворин в дневнике своем аттестует крайне нелестно. (Снесарев заведывал отделом городского самоуправления и в неразборчивой борьбе с оппозицией "стародумцам", во главе которой в 1905 г. стоял В.Д.Набоков, прибег к гадкой личной выходке, заставившей Набокова, хотя он только что выступил в Юридическом Обществе с блестящим докладом против дуэли, послать через контр-адмирала Коломийцева вызов Суворину, тогда редактору "Нового Времени", вызов, который тот не принял).

— Я знаю, — сказал Снесарев, входя в мой кабинет, — что я для вас гость незваный, хуже татарина. Но сейчас у нас есть общий интерес: вы ополчаетесь на Кирилловский маскарад, но и понятия не имеете, что творится за кулисами. Ведь маскарад-то поставил я, я писал манифест царский, а они не только ничего не заплатили, но меня же вышвырнули. Вот моя книга, в которой все подробно изложено. Почитайте, почитайте ее, спасибо скажете.

Конечно, книга была насквозь пропитана личной злобой и местью, но если на этот счет приходилось 90%, то и остающихся десяти было вполне достаточно, чтобы видеть, что автор и его противники во всяком случае стоят на одном моральном уровне.

С другой же стороны, хотя митрополит Антоний благословил Великого князя Кирилла на царство, тем не менее "Царский Вестник" не задумался ославить митрополита, перепечатав из "Красного Архива" письма его, содержащие чрезвычайно резкую критику старого режима. Когда в "Руле" я обратил внимание на столь загадочный факт, это вывало настоящий взрыв негодования в монархических кругах, обвинивших Великого князя Кирилла в содействии большевикам. А на это последовал

ответ "Царского Вестника", что перепечатка сделана была вполне сознательно и целесообразно, и обвинение в подозрительной близости к большевикам брошено было по адресу окружения соперника Кирилла, "блюстителя престола", Великого князя Николая Николаевича ...

Мне бы очень улыбалось сказать теперь, что я оставался в стороне, стоял на позиции — пусть не беспристрастного, но все-таки наблюдателя. Но хоть и тогда стремился "Руль" к этому и, отмечая уродливые явления, неустанно напоминал, какой страшный вред приносит эта взаимная позорная грызня эмигрантской массе и какое безнадежное впечатление должен производить наш разброд на страдающих на родине под игом советского режима, — частенько мы не в силах были совладать с собою и давали волю переливающемуся через край негодованию.

Приветствуя всякую искреннюю попытку осмыслить хаос революционного разрушения, преодолевая сомнение в том, что, как вначале говорили евразийцы — "то крылья ангела Господня возмутили воды купели", и что если "Россия в мерзости и паскудстве, то она и в искании и борении, во взыскании града нездешнего", — я тем неистовее возмущался безответственным ветреным отношением к разгулу стихии, за который родина расплачивается такой непосильно тяжкой ценой.

(Вспоминаю статью, которую, варьируя выражение Герцена, я озаглавил "Ловеласы революции". Она направлена была против Осоргина, изводившего Керенского своими "маленькими фельетонами" в "Днях". Он писал, что в ответ на свои сомнения в значимости таблицы умножения для человечес-

кого уклада, получил письмо от "лица почтеннейшего, старого профессора, литератора, общественного деятеля, члена Временного правительства и прочее", который спрашивал: "Ходили ли вы когда-нибудь по мосту, построенному без дважды два четыре?" Столь авторитетному корреспонденту Осоргин, со своей стороны, задает вопрос: "А может быть, таблица-то умножения... того?" Ведь революция сделана была не по таблице, а о ней "сохранились радостные и благодарнейшие воспоминания". И напротив, ведь почтеннейший корреспондент не сомневался, конечно, что "мост, возведенный в октябре, сокрушится в течение одного месяца трех дней четырех часов и одной минуты", а оказалось, что свалился не мост, а "балкон ожиданий", с которого тот наблюдал события. Мост же стоит, стоит "под самыми облаками, — гирлянды из хрупких лилий и орхидеев без проволоки и цемента, и этот волшебный мост качается благоуханно на всех ветрах". Правда, кругом смерть и ужас, но, в назидание вопрошающему, Осоргин рассказывает, что через жуткий ручеек мужики положили бревнышко, а на замечание, что по такому мосту ходить опасно, что намедни баба уже свалилась, уверенно отвечали: "Ничаво, у нас баб много". В этом ответе автор усматривал "маленькую правду", дискредитирующую таблицу умножения. Когда же от Осоргина потребовали объяснения, почему он сам не стал открыто на сторону коммунистов и не разделил ответственности за их действия, он ответил, что стоит вообще против всякой власти и главное завоевание революции усматривает в том, что она подорвала уважение к власти вообще и вселила убеждение, что задача гражданина заключается в ограждении себя от забот власти путем ли

обмана, обхода, приспособления и т.д. "Но все же советская власть, проявившая себя во всем блеске власти подобающей, и нашедшая себе идейное оправдание, безмерно выше Временного правительства, проявившего себя "слабыми реакционными актами").

Это ловеласничество вызывало в "Руле" решительный отпор, в резкости коего и по истечении десятка лет не могу каяться, потому что оно представляло несомненно большую опасность, чем прямая просоветская пропаганда. Осоргин был ведь в числе высланных советской властью, следовательно, — она имела основание считать его элементом вредным, враждебным: если же и он готов принести ей в жертву таблицу умножения, если ему, большевиками изверженному, человеческие гекатомбы не портят благоухания революционной атмосферы, — как же не склониться перед победителями, кому же поверить, как не ему.

Меня мучительно раздражало такое легкомысленное отношение к "ничаво, баб у нас много!", особенно со стороны человека, который сам находится вне этой категории и таблицу умножения громит в тепле и сытости.

Иначе относился я к другому разряду "добровольцев", появившемуся в период расцвета НЭП'а, карикатурно, вопреки торжественному заявлению Ленина — "всерьез и надолго", воспроизведшего худосочные "весны" царского режима. НЭП открыл возможность легального выезда за границу и, наряду с нэпманами, легко, за взятку добывавшими в красном переплете паспортную книжку, — сумели воспользоваться этой возможностью и некоторые представители интеллигенции, благодаря связям со старыми приятелями среди новых властителей.

Сменив тяжкие годы гражданской войны и военного коммунизма, НЭП, избавив страну от холода и голода, произвел огромное впечатление; сознание пережитого с такими муками лихолетия, которое — не хотелось иначе верить — осталось уже позади, вселяло чувство гордости и превосходства над беженцами, покинувшими родину ради спасения шкуры. Только от известного художника М.В.Добужинского, ярко запечатлевшего на своих рисунках разрушение величественного Петербурга, довелось услышать, что тяжесть военного коммунизма смягчалась поравнением, общностью невзгоды — все кругом одинаково страдают. При НЭП'е же, когда бухаринский лозунг "обогащайтесь!" сделал ставку на сильных и ловкачей и сразу произвел расслоение, — в сердцах искренно веровавших дрогнул трагический вопрос — за что мы боролись? Жить стало морально невыносимо.

Насколько, однако, наблюдения позволяли судить, такие высказывания составляли исключение, обычным была более не менее удачно скрытая кичливость "подвигом оставшегося" и самодовольно-покровительственное отношение к эмигранту.

Наиболее ярко испытал я это при встрече со старым приятелем С.Я.Елпатьевским, занимательным "очеркистом" "Русского Богатства". Слова были те же и тон не изменился, и манеры привычные, короче — внешне все оставалось так, как раньше, в особенности за обедом с красным вином, до которого он был большим охотником. Но он ясно давал понять, что общих интересов у нас больше нет, и поэтому держался настороже. Должен признаться, что, хоть ненавижу кичливость во всех ее проявлениях, в данном случае считал ее законной и, напротив, испытывал гложущее чувство виноватости.

К тому же еще нельзя было не принять во внимание, что перспектива возвращения на родину повелительно диктовала крайнюю сдержанность в суждениях и в отношении прежних друзей, теперь квалифицируемых как контрреволюционеры.

Обратно собирались, можно сказать, все приезжавшие интеллигенты и сразу же при встречах это подчеркивали, как бы для того, чтобы прочно установить средостение.

— Я — скиф, — говорил один выдающийся молодой ученый, — и за границей мне делать нечего.

Но далеко не все намерение свое осуществили, и тот же скиф, как и целая плеяда ученых, застряли на чужбине, — одни, найдя достойное приложение своим силам в иностранных университетах, другие, — ведя полуголодное существование.

Зато случалось и наоборот: те, что являлись с твердым решением здесь остаться, готовы были броситься в объятия, и даже с незнакомыми у них быстро устанавливались доверительные и дружеские отношения. Эти поражали огульно отрицательным отношениям к советскому режиму и всякая попытка внести поправку наталкивалась на решительный отпор. Вот еще совсем молодой художник-карикатурист, которого в России я не знал. Очень огорчительно было услышать от него подтверждение априорного предположения, что только теперь на родине расцветет настоящий антисемитизм.

— Я женат на еврейке, — рассказывал он, — и главная забота — вырвать ее из Москвы. Меня вы в антисемитизме заподозрить не можете, но скажу, что эти опасения весьма основательны: в Замоскворечье злоба против евреев кипит и бурно прорывается. Думаю — не столько из-за руководящего положения Троцкого, Зиновьева и других, а

потому, что на низших местах, куда повседневно "массовику" приходится обращаться, всюду сидят евреи, и это болезненно раздражает.

Настойчиво художник — не просил, а требовал (эту черту я потом часто наблюдал у приезжих из России) помочь ему устроиться. Это представлялось безнадежным, потому что русские издательства уже захирели, а по-немецки он ни слова не знал. Но удалось помочь ему устроиться в крупном немецком журнальном издательстве, во главе коего стоял наш брат эмигрант, редактор иллюстрированного журнала "Жар Птица" А.Э.Коган. Проработав там с год или два, художник огорошил меня заявлением, что решил вернуться на родину. Я предостерегал его от опасности, которой он себя подвергает, напоминал его же жалобы на невыносимый цензурный гнет, "социальный заказ", убивающий творчество в зачатке.

— Это верно, — отвечал он, — но разница вся только в том, что там я вынужден угождать большевизму, а здесь должен рисовать гривуазные картинки — больше всего дамские панталончики с фестончиками. А так как жена не проявляет смелости и находчивости, чтобы вырваться оттуда, я и решил вернуться к прежнему социальному заказу.

Так он и уехал...

Да, читали мы и изучали исторические факты "распада связи времен", интересовались и волновались научными их объяснениями и прогнозами. Говорили об общественном идеале, гибели культуры и т.д., в том же роде. Но кто углублялся до проникновения в человеческую душу, которой пришлось пережить гнев судьбины. Теперь, когда катастрофа неистовствует воочию, вспоминаются

мудрые (для моего поколения) слова Рильке: "Мнимы всякие множественные числа, есть только единственное, и все существует, все ценно лишь как единичное, как личное, как оно само. Мир состоит из множества единичных чисел и потому так интересен".

Что же сталось с этим единственным, единичным? Одна моя знакомая, совершенно замечательная тем, что вправе притязать на присвоение пушкинских слов: "Ты понял жизни цель! Счастливый человек — для жизни ты живешь!", покинула родину лишь в 1922 году, в самом начале НЭП'а. С маленьким ребенком, она пережила в Петербурге беспощадный голод и холод, в обстановке невероятной грязи и вшей, потеряла мужа и нескольких близких родственников, умерших от истощения. На редкость дружная, высоко культурная семья, к которой она принадлежала, теперь распалась. Общение стало тягостным, тем тягостнее, чем человек ближе. Общение не смягчало, а ожесточало чувство всевластной беспомощности, отсюда рождалось и росло ощущение роковой обреченности, вызвавшей полное безразличие и парализовавшей рефлексы, реакцию на окружающее.

— Мир перестал быть ощутимой реальностью, — говорила она, — ничто не удивляло, не возмущало, вообще замерло душевное эхо, словно душа превратилась в вату, в которой глохнет всякий звук. Я продолжала двигаться в поисках пищи и тепла, но совершенно бездумно, автоматически, вроде лунатика. Думаю — от лунатика отличало, что я это понимала, как будто со стороны смотрела на свой автоматизм. Нет, не раздвоение личности, я оставалась сама собой. Но как же объяснить? Например, в детстве однажды снился сон: я пере-

хожу с няней через улицу, вдруг вижу, что на нас мчатся взбесившиеся лошади. Няня хватает меня за руку, сердце захлебывается в ужасе, но тут же я говорю няне — да ведь это сон! и просыпаюсь в холодном поту. Так вот — всем существом чувствую, что совершается нечто сверхестественное, а вместе с тем, кажется, что это не реально, что это не может быть, что это — фантасмагория. Так с тех пор где-то глубоко, в подсознании отложилось, что я живу не реально, что меня оторвало от потока жизни и сделало посторонней наблюдательницей".

Трудно понять, освоить такое душевное состояние. Я вспомнил об одной газетной корреспонденции: в Италии (бывшей прежде частью Австрии) после первой великой войны осталось несколько тысяч русских военнопленных, которые постепенно разбрелись к белым армиям, на Украину и на родину, но два-три десятка уйти никуда не хотели, они объявили себя — "духовными христианами", предающимися на волю Божию. Если Господу угодно, Он их прокормит, но бороться за кусок хлеба, вырывая его у другого, они не согласны. После разных перипетий они были помещены в убежище для душевно больных под Неаполем, где и живут безропотно, тщательно скрывая свои имена и фигурируя поэтому под номерами.

В другом случае сообщено было из глухого угла Македонии, где в полуразрушенной турецкой крепости, поросшей мхом и пропитанной сыростью, приютилось двенадцать мужчин и три изможденные женщины, которые точно так же считают себя "духовными христианами", отказыващимися принимать какое бы то ни было участие в "бессмысленной жизни". "Мы ведем духовную жизнь, требующую прежде всего умерщвления плоти".

Эти случаи не смутили мою собеседницу, и помолчав, она ответила, растягивая слова:

— А ведь это вовсе уж не так странно, скорей последовательно: одно из ярких проявлений той именно реальной жизни, которая вызывает представление об апокалипсисе, фантасмагории и которую так трудно признать за подлинную жизнь.

И в самом деле: как ни уродливы приведенные примеры, каким бы извращением они сразу ни бросались в глаза, — так ли уж они чужды нашему бытию, так ли уж я сам им не причастен, глухой стеной отделен от них, так ли они непостижимы?..

*
* *

Удачно сея смуту среди эмиграци призывами вовращаться на родину, советская власть не ограничивалась соблазнительной пропагандой, а прибегала подчас и к другим, гораздо более решительным мерам. Одним из первых объектов этих мер она избрала мою персону.

Не помню, в каком году (должно быть в начале 1923), я получил от неизвестного лица из Гамбурга письмо, приглашавшее приехать туда за получением весьма ценных документальных данных о положении советской власти. Гамбург был тогда цитаделью германской коммунистической партии, распоряжавшейся там довольно самовластно. Друзья решительно восстали против поездки, ссылаясь на полную мою неспособность, вследствие чрезмерной близорукости, ориентироваться в незнакомой местности. Вместо меня отправился молодой со-

трудник "Руля", который, благополучно вернувшись, красочно описывал подозрительную обстановку портового трактира, где он встретился с огромным детиной; в лицах изображал, как тот убеждал пойти с ним на пристань, где у товарища хранятся обещанные документы, и как детина не мог скрыть раздражения и резко оборвал беседу, когда сотрудник наш открыл ему, что он не Гессен, а приехал вместо него для предварительного ознакомления. Словом — слишком усердно рассказчик стилизовал свое повествование, чтобы не расшевелить сомнений в точности. Однако дальнейшие события — целый ряд насильственных увозов — непререкаемо засвидетельствовали, что большевики действуют в этом направлении весьма уверенно и дерзко, никакого внимания не обращая и не смущаясь шумом и негодованием, возбуждаемым их беззастенчивостью.

Но как тяжко вспоминать, что, подобно упомянутым выше шантажным бюро для розыска пропавших без вести беженцев, и тут нашлись эмигранты, не замедлившие приспособить советские аллюры для своекорыстных целей. С просьбой о помощи явился ко мне молодой человек Г. в сильном нервном возбуждении. Он служил в ревельском торгпредстве. Внезапно откомандированный в Москву, Г., человек крайне нерешительный, сел было в поезд, отправлявшийся в Россию, но на промежуточной станции, на которой было скрещение со встречным поездом, пересел в него и, став, повидимому, первым "невозвращенцем", пробрался в Польшу, оттуда приехал в Берлин, где жил очень тихо и замкнуто и считал, что следы его основательно заметены. Каков же был его ужас, когда однажды ранним утром к нему пожаловал

незнакомец, подчеркнуто большевистского вида, и предъявил ему приказ из Москвы полпредству во что бы то ни стало доставить туда невозвращенца живым или мертвым.

Когда же для вящего доказательства могущества ГПУ незнакомец показал Г. точную выписку из текущих счетов его в разных европейских банках, Г. был совсем сражен: об этих счетах и, тем более, об их состоянии решительно никто, по его словам, не знал.

Целью визита было предложение бесследно уничтожить приказ, за что незнакомец требовал вознаграждения в двадцать процентов суммы текущих счетов. Казалось, что вернейшим и простейшим средством борьбы с шантажом было бы опубликование в ”Руле” этого инцидента. Но Г. только руками замахал:

— Ради Бога, забудьте, что вы редактор газеты. Я обращаюсь к вам, как к адвокату.

После долгих колебаний и сомнений моего клиента решено было просить помощи в полицай-президиуме, который рекомендовал пригласить шантажиста для переговоров в кафе, где и захватит его приставленный для этого полицейский агент. Но на свидание шантажист, несомненно чуявший, а, может быть, и проследивший контр-махинации Г., уже не явился и на том дело и кончилось. А несколько лет спустя Г. просил оказать содействие в получении разрешения на въезд во Францию, в чем ему упорно отказывали. Я обратился к приятелю, чиновнику одной из французский комиссий в Берлине. Он добыл из консульства ”досье” Г., содержащее между прочим донос — и притом не анонимный — изобличавший Г., как советского агента, с приложением точно такой же выписки из текущих счетов.

Г., считавший себя мудро осторожным и прозорливым, побледнел:

— Помилуйте! Ведь это преданнейший друг. Он один только и знал, куда я из Ревеля скрылся, и пересылал письма, продолжавшие поступать по ревельскому адресу. Очевидно, он предварительно вскрывал письма и из сообщений банков получал так удивившие меня точнейшие сведения о моих текущих счетах.

Но и теперь Г. умолял не предавать дело никакой огласке:

— Ведь я же не пострадал тогда, теперь и виза благодаря вам получена. Зачем же подымать историю, которая только напомнит большевикам о моем существовании.

Развернутым непроницаемым фронтом стояли друг против друга советчина и эмиграция, но там, где замутившаяся вода оседала грязью, фронты так перемешивались, что, в тумане поднимающихся ядовитых испарений, различить непримиримых противников становилось все труднее и все ярче перемешка превращалась в настоящее общественное бедствие.

Так например, я до сих пор не могу объяснить раздора, внесенного неким Акацатовым, который в эмиграции всплыл на поверхность, имея за собой репутацию, вполне установившуюся. Известно было, что во времена второй и третьей Государственной Думы он состоял на службе у Столыпина для уловления душ крестьянских депутатов, в гражданской войне играл двусмысленную роль в так называемой "Южной армии", теперь его публично обвиняли, как советского агента, он же представлялся всем как "вождь" Крестьянского союза,

подпольно работающего в России, и от его имени "Последние Новости" гарантировали беженцам безопасное путешествие в любой пункт России. В течение, кажется, двух лет вокруг Акацатова, ставшего и представителем газеты для Бессарабии, пламенела ожесточенная полемика, пока он, как-то незаметно, не сошел на нет.

Насколько мне известно, Акацатов не нашел охотников довериться его гарантии — слишком уж аляповаты были зазывания. Обрелись, однако, у него преемники, орудовавшие конспиративно под фирмой "Треста", и на эту удочку позорно попался тонкий и умный В.В.Шульгин, сам руководивший конспиративной организацией "Азбука" во время гражданской войны. Позорным оказалось именно то, что Шульгину удалось благополучно провести несколько месяцев в России и невредимым вернуться за границу. О предстоящем возвращении из поездки, хранившейся, конечно, в глубочайшей тайне, торжественно возвестил Струве (тогда редактор парижского "Возрождения"), поздравляя читателей с печатанием в газете выдержек из готовящейся книги, представляющей "драгоценный сюрприз".

Сюрприз, действительно, оказался незаурядный. Целью поездки было разыскание пропавшего сына, но об этом автор говорит таинственно, вскользь, — зато подробно рассказывает об опасном переходе через советскую границу, о захватывающих ухищрениях, чтобы уйти от обнаруженной за собой слежки, уверяет, что "нет самой бедной хаты, где бы не было портрета Николая Николаевича, его знает и помнит вся Россия", хотя, впрочем, "не удалось натолкнуться на противосоветскую организацию, которая бы внушала доверие", и переходит к изло-

жению своих впечатлений от виденного. Этих впечатлений, затмевающих все остальные, два: во-первых — полонение России евреями, которых злобно ненавидит вся страна и которым он поэтому рекомендует подготовиться к эвакуации, "когда станет немножечко чем теперь горячей". Во-вторых — представляя себе, что схвачен ГПУ и предан суду, он приводит на сорока страницах речь, которую "со свойственной моему характеру прямотой" произнес бы. Здесь он выражает "низкое вам, русское спасибо, товарищи еврейские коммунисты", за то, что вы превратили Россию в "страну еврейского фашизма", что Ленин был лишь "инструментом белой мысли", потому что государство и должно покоиться на господстве меньшинства над большинством, потому что идея советов довольно удачна, и т.д. в таком же роде.

А вскоре после выхода книги в свет выяснилось, из признания самого Шульгина, что поездка была организована и инсценирована чекистами "вплоть до портретов Николая Николаевича и настойчивой слежки". Мало того: выяснилось, что рукопись книги Шульгина отправлена была им в Москву, на предварительный просмотр и одобрение ГПУ.

Напечатанная в "Руле" обширная рецензия на эту одиозную книгу, заканчивалась риторическим вопросом: "Уверены ли они (Струве и Шульгин), что сами не являются инструментами в чьих-то руках?" А спустя несколько месяцев, в публичном докладе на эту же тему — о поездке Шульгина, собравшем переполненный зал, я уже мог ссылаться на вынужденное открытое признание самого Шульгина, что его дерзкое путешествие было действительно совершено под крылышком ГПУ и что, та-

ким образом, полная рискованнейших приключений драматическая авантюра в действительности представляла гнусный фарс.

И что же? Попытался ли Шульгин вырубить топором то, что написано было одураченным пером, принял ли меры к прекращению продажи книги, на коей нагло проступали позорные слова: "Печатать разрешается. ГПУ"? Как бы не так: ведь книга должна была служить лишним доказательством утверждения, что большевики служат "орудием белой мысли", и он предпочитал неудачу свою сорвать на полемике с "гессенами", которые-де закрывают глаза на рост антисемитизма в России, вопреки тому, что "Руль" постоянно об этой опасности говорил.

Беда, однако, была бы не столь велика, если бы Шульгин был сам по себе. Страшно, что этот скандал не вызвал никакой реакции, а напротив — как будто только разжег аппетиты, как будто нарочно был самими чекистами разоблачен, чтобы посеять соблазн, приоткрыть заманчивые, хотя и опасные возможности привольного существования в тяжелых условиях эмиграции.

Не надо было поэтому обладать предвидением, чтобы ждать новых сюрпризов. Зараза бросилась прежде всего на организации так называемого активизма, под которым разумеется подпольная антисоветская работа в России. Таких групп было немало (Крестьянская Россия, Национальный Союз Нового Поколения, Братство Русской правды и т.п.), но не было, кажется, ни одной группы, в которой не возникло бы внутренних раздоров, сопровождавшихся взаимными тяжкими обвинениями в предательстве — это было столь же естественно, сколь и трудно установимо, так как двурушниче-

ство диктуется самим характером контрразведочных ухищрений. Когда очередь внутреннему разложению дошла до Братства Русской правды и сведения об этом проникли в печать, С.А.Кречетов, "брат №1", одновременно и член русской массонской ложи в Берлине, возглавляемой В.Е.Татариновым, в течение нескольких часов исповедовался передо мной в "случившихся недоразумениях и ошибках".

Среди таких, ставших уже обыденными разоблачений, вдруг грянула сенсация. Отлично помню этот день: утром в редакции я застал уже поджидавшего меня гостя из Парижа, бывшего сотрудника "Речи" П.Я.Рысса. Много лет мы с ним не встречались, но он почти не изменился. Да если бы это было и иначе, я все-таки тотчас узнал бы его по конспиративной маске на лице.

— Вы понимаете, что теперь не время прогулок из Парижа в Берлин. Приехал я по важному делу. Вчера должен был спешить обратно в Париж, но мне поручено переговорить с вами по поводу "Руля", конечно, в абсолютной тайне, и я остался до сегодняшнего вечера.

— В таком случае, пожалуйте ко мне домой к обеду. Здесь мешают срочные дела, а теснота помещения плохо гарантирует тайну.

Явившись в условленный час домой, я застал нетерпеливо уже ждавшего меня Рысса. Внимательно осмотревшись и проверив, тщательно ли заперты двери кабинета, он сообщил, что приехал на свидание с двумя членами антисоветской организации, прибывшими из России для осведомления о положении советского режима и выработки плана совместных действий.

— Чтобы вы не сомневались в деловой и моральной авторитетности москвичей, прибавлю, что на свидание я приехал вместе с генералом Кутеповым, который вчера после двухдневных детальных бесед, вернулся в Париж, я же остался еще на день, чтобы передать вам их поручение относительно ''Руля''.

Настолько коварно нелепы были преподанные советы, что я в одно ухо впустил их и сквозь другое тотчас выпустил. Из четырех директив вспоминаю лишь первую — не пользоваться для ''Руля'' случайными сведениями, а основываться на данных только советской печати.

— Иначе говоря, собеседники ваши рекомендуют поставить добровольно ''Руль'' под советскую цензуру? Что же вы им ответили?

— Я предложил устроить свидание, чтобы вы непосредственно выслушали их пожелания, но они уклонились, так как за вами несомненно установлена слежка. Я же на ваши сомнения ничего не отвечаю, являясь лишь почтальоном, передающим чужое поручение.

Удивляюсь теперь, что разговор сразу утратил для меня всякий интерес, вместо того, чтобы, напротив, привлечь сугубое внимание к подозрительной странности преподанных советов. Быть может, причина — в инстинктивном отталкивании от нарочитой конфеденциальности, в ощущении неловкости участия в чем-то недостойном.

Менее понятно, что за обедом с женой и сыновьями, мы уже так отвлеклись от главной темы, так предались воспоминаниям о ''Речи'', что даже ни словом не обменялись по поводу появившегося в этот день известия об исчезновении Кутепова.

Правда, исчезновение генерала не было новин-

кой: несколько лет назад бесследно испарился начальник штаба Кутепова, весьма видный генерал Монкевиц и спустя некоторое время отыскался в России на службе у большевиков.

В данном случае такие предположения едва ли кому и в голову приходили, напротив — всем сразу было ясно, что Кутепов насильственно увезен агентами советской власти. Нельзя было не сопоставить этого исчезновения с непосредственно предшествовавшим пребыванием Кутепова в Берлине для свидания с приехавшими из России. Действительно, Рысс и сам привлек к себе внимание розыскных органов. Спустя несколько дней после его отъезда пришел ко мне казначей Союза литераторов А.Г.Левенсон и рассказал, что его вызывали в полицай-президиум, чтобы справиться, был ли Рысс на днях в Берлине и видел ли его Левенсон.

— Нет, не видел и думаю, что его здесь не было, ибо, при наших дружеских отношениях он не преминул бы заглянуть ко мне.

Его отпустили с просьбой немедленно сообщить полиции, если бы он случайно узнал, что Рысс был здесь и с кем он встречался.

— Что бы это могло значить? — спросил Левенсон и совсем по-детски растерялся, услышав, что Рысс был на днях у меня.

— Простите, — пролепетал он с тревожным соболезнованием, — я ведь должен сообщить об этом комиссару.

— Конечно, позвоните сейчас же.

Комиссар Брашвиц очень обрадовался указанию Левенсона и неохотно соглашался отсрочить мой визит на несколько часов, до окончания редакционной работы.

Я застал его в кабинете, погруженным в лежав-

шее перед ним толстое досье, из которого он предъявил для начала фотографии как самого Рысса, так, к удивлению, и жены его.

— Но ведь она уже несколько лет как скончалась!

— Это нам известно, но вы удостоверяете, что это Рысс и его супруга?

Затем показаны были снимки двух молодых упитанных самоуверенных лиц: украдкой — к явному неудовольствию комиссара — я успел на обороте фотографий прочесть фамилии: Попов и де Роберти. Ясно было, что это-то и есть гости из России, от имени которых Рысс преподавал мне подозрительные советы.

Подробно расспросив о Рыссе, комиссар заметил:

— Однако, ведь ваша дружеская характеристика относится к дореволюционному времени?

— Совершенно верно, как верно и то, что после революции, в изгнании многие очень изменились, а Рысса я много лет не встречал, но у меня нет никаких данных допустить и относительно него такое предположение.

Комиссар очень интересовался и недоумевал, на чем покоилось неограниченное доверие к приезжим: как впоследствии выяснилось, свидания Кутепова и Рысса с приезжими отличались странной неосторожностью: Попов и де Роберти жили совсем вблизи полпредства, в скромной гостинице, в которой останавливались все проезжающие через Берлин советские служащие, командированные за границу. А Кутепов с Рыссом поместились в другой, в двух шагах от названной, т.е., можно сказать, на глазах у шныряющих агентов, и здесь за обильными завтраками происходили встречи, которые должны

были храниться в глубочайшей тайне. Лет пять спустя, свидевшись с Рыссом в Париже, я напомнил об этом эпизоде, готовясь услышать слова покаяния. Но с высоко поднятой головой Рысс отвечал, что ему и самому переданные для меня советы казались подозрительными, почему он от них и отгородился, определив свою роль функциями почтальона. Выходило так, будто завязывая подпольные связи с Россией, нужно было принимать в расчет провокаторство, мириться с ним и смотреть на это сквозь пальцы.

А ведь в сущности так оно и было, так оно и стало вырисовываться в неожиданном результате частных усилий помочь официальному расследованию, оставшемуся, однако, безуспешным. Виновники преступления найдены не были, но и самый факт таинственного исчезновения главы Воинского союза померк в густой тени обстановки, среди которой протекала его деятельность. В газетах стали мелькать фамилии подозреваемых в предательстве лиц, и вокруг них вспыхнула между органами разных направлений бесцеремонная полемика, видные члены Союза изобличали друг друга в преступном двурушничестве, предъявлялись требования судов чести, которым преемник Кутепова силился не давать хода, и все внушало убеждение, что похищение могло состояться только благодаря участию в нем близких Кутепову людей, что, следовательно, позорный опыт Шульгина не только ничему не научил, но как бы установил прецедент, на манер щедринского утверждения: в Кишиневском суде установился прецедент.

И вот, снова, какое знаменательное и грозное предзнаменование: если уже при похищении Кутепова единственным логическим противопоказанием

роли большевиков служил вопрос — зачем Кутепов им нужен? — то относительно также бесследно исчезнувшего генерала Миллера теперь, много лет спустя, в течение коих деятельность Воинского союза все сильнее выветривалась, — теперь беспомощное топтание на месте в поисках осмысленного ответа побуждало толкаться в разные другие двери, строить предположения в других параллельных направлениях, засматриваться на Гестапо, разбираться в ”добровольцах” драматического испанского узла, усиленно, с противоположных сторон, затягивающего русских беженцев, тщетно ищущих приложения своим силам.

Совсем огорошил меня близкий друг, человек ревнивой зоркости, поставивший похищение Миллера в связь с раскрытием ”заговора Тухачевского”, повлекшим за собой такие жестокие казни: мол, похищение Миллера является дополнительным актом этой расправы. Такая догадка показалась слишком уже фантастической, но через несколько дней пришлось услышать — кажется, из источника достоверного, — что на устроенном незадолго перед похищением юбилейном вечере Корниловского полка генерал Деникин, в приветственной речи, между прочим, сказал, что ”теперь (т.е. после раскрытия заговора и расстрела военначальников) нет больше оснований скрывать, что Тухачевский встречался в Париже с Кутеповым”.

Во всяком случае, если участие советских агентов в похищении Миллера не устанавливается прямыми уликами, а лишь как единственное реальное предположение, то предательская роль генерала Скоблина, командира Корниловского полка, обличается непосредственно, посмертным, так сказать, письмом исчезнувшего, предупреждающим, что он

отправляется на устроенное Скоблиным конспиративное свидание. По желанию Миллера, письмо подлежало вскрытию и прочтению лишь в случае невозвращения своевременно с этого свидания.

Если же принять во внимание, что Миллер состоял со Скоблиным в дружеских отношениях, то вновь подтверждается, что возможность предательства считалась в среде Воинского союза неизбывной профессиональной принадлежностью. Таков именно прямой смысл поставленного генералом Деникиным — в публичном его докладе — риторического вопроса: почему не производилось расследование, почему упорно скрывались имена разоблаченных провокаторов?

В частности, против Скоблина настойчивые обвинения выдвинуты были уже много лет назад, после исчезновения Кутепова, и их расследованию больше всего препятствовал сам Миллер. И хотя на этот раз уличенный письмом Миллера организатор преступления Скоблин находился в руках генералов, руководителей Воинского союза, — ему по непостижимому (нельзя иначе выразиться) недотепству, дали возможность благополучно улизнуть: впрочем, за оставление в живых разоблаченного агента также мало можно поручиться, как и за жизнь похищенного Миллера.

Едва ли можно было сомневаться, что и на этот раз преступление останется формально нераскрытым, и вполне понятно, что последствия рецидива, как такового, да еще совершенного в обстоятельствах резко вызывающих, должны были далеко превзойти развал, начавшийся после исчезновения Кутепова.

О жене Скоблина — певице Плевицкой бывший офицер штаба Великого князя Николая Николае-

вича, граф Д., печатно заявляет, что "в настоящее время можно говорить с уверенностью о гнусной работе этой..." (непечатный термин), которая была близка к Дзержинскому, в качестве его сотрудницы следила за бывшей аристократией, и немало жертв из этой среды, по ее указанию, досталось чекистам. Позже, концертируя в белых воинских частях, занималась шпионажем в пользу красных и т.д. Но до сих пор, "не желая порочить имя нашего боевого товарища, мы этих сведений не разглашали".

Вообще, если прежде высказывались недвусмысленные подозрения, то за ними последовали открытые обвинения. Сперва требования суда чести для расследования бросаемых обвинений настойчиво заглушались начальством, а затем пришлось учредить особую комиссию для всестороннего выяснения и обнаружения гнездящейся провокационной заразы, причем назначенные в нее члены один за другим отказывались принять участие в работах комиссии под самыми разными предлогами.

Сперва обвинения сосредоточивались на воинской организации, затем они сильно углубились, вскрыв в ее подполье специфически двусмысленную ячейку "внутренней линии", а сверх того подозрения и уличения посыпались на все буквы алфавита — НТСНП (национальный трудовой союз нового поколения), КБИ (круги белой идеи) и т.д.

Блестящая карикатура пошехонского самоочищения, нарисованная Щедриным в "Истории одного города", безнадежно бледнеет перед этой, подлинно невероятной действительностью. Поискать разве утешение в том, что это моральное извращение вовсе не составляет принадлежности только нашей российской эмиграции. Зловещее обобщение, осно-

ванное на конкретных данных, можно найти еще у Герцена, утверждавшего, что "шпионы постоянно трутся во всех эмиграциях — их узнают, открывают, колотят, а они свое дело делают с полнейшим успехом", и при этом автор перечисляет ряд случаев, в которых с русскими умело соперничают поляки, немцы, итальянцы и т.д.

Среди безотрадного пошехонья больше всего угнетало распространение обвинений за пределы легко уязвимого инфекцией активизма — на течение чисто идейное: тесно прикосновенным к изобличенному предательству оказалось и "евразийство", которое еще в 1921 году оформилось изданием сборника "Исход к востоку".

Ведь и для такого ярого западника, как Герцен, достаточно было первых веяний, поднятых неудачей Крымской войны, чтобы спешно отречься от старого мира, испугавшего "мещанством", и заявить, что "народ русский, широко раскинувшийся между Европой и Азией, принадлежащий каким-то двоюродным братом к общей семье народов европейских, не принимал никакого участия в семейной хронике Европы... Пора стать на ноги, зачем же непременно на деревянные, потому что они иностранной работы? Зачем же наряжаться в блузу, когда есть своя рубашка с косым воротом?" Что же удивительного, если еще во время великой войны стали раздаваться опасения, что "к концу ее все народы Европы — и наши союзники и враги — перекликнутся между собой чем-то своим, европейским и, тем самым, в каком-то сейчас еще невидимом слове встанут все против несчастной России".

И столь же понятно, что послевоенная разруха и взмытая ею революция толкнула некоторых

молодых ученых еще на шаг дальше в Азию, побудила "осознать, осмыслить совершившийся и совершающийся выход России из рамок современной европейской культуры", признать, что раньше или позже так и должно было случиться, потому что "Россия особый мир и не должна отрекаться от своих туранских предков". Пусть татарщина много зла принесла России, но "были татарские полки, которые бились за общее с русскими дело", и без татарщины не было бы России, которую теперь предлагают окрестить новым именем — Евразией. И точно так же: если выпадение из европейской культуры досталось страшной ценой революции, повергшей Россию в "грех и безбожие, в мерзость и паскудство", если ужас наводит "бесчеловечность и мерзость большевизма", то нельзя не признать, что в своей стихии явление большевизма глубоко народное, знаменующее "искание и борение", взыскание града нездешнего, и пафос истории почиет не на тех, кто спокоен в знании истины, кто самодоволен и сыт. История толкается сейчас именно в наши ворота".

Этот возродившийся мессианизм интересовал и волновал не под углом логической и исторической правильности и защитимости, а как галилеевское "А все-таки вертится!", как вольтеровское "Если бы Бога не было, Его нужно бы было выдумать!" — как полярная противоположность страшным примерам ухода из жизни, "почтительного возвращения билета на вход", как Карамазовская "мысль о необходимости Бога, которая до того свята, до того трогательна, до того премудра и до того делает она честь человеку".

Так расценивая евразийство, я тем сильней был ошеломлен, когда, по мере своего оформле-

ния, оно быстро стало соскальзывать на путь грубого практического большевизанства. Маркс провозглашен был ''самым близким нам из западных философов'', но и этого было мало — было заявлено, что ''работа советской власти — это общее с нами дело'', эмигранты же не представляют никакого интереса, и в отличие от них евразийцы стали называть себя ''эмигрантами в кавычках''.

Чуть ли не все основоположники евразийства после этого отряхнули пыль от ног своих и не задумались объявить своих вчерашних единомышленников ''рептилиями''. Таким способом нетрудно, конечно, отделаться от любого гордиева узла, но меня никогда не прельщала находчивость Александра Македонского. А в данном случае столь простое, слишком человеческое объяснение обнажало неразрешимое противоречие: если тут действовали низменный корыстные мотивы, если евразийцы превратились в агентов советской власти, то мотивы следовало бы как можно тщательнее скрыть, а не объявлять, что ''евразийство провозглашает не смену, а просто отмену вех'' — разоблаченный или разоблачившийся агент не стоит больше, чем выжатый лимон. Если евразийская идеология могла внести смуту в ряды беженцев, не чувствующих почвы по ногами, если прорицание мессианства могло окутать дымовой завесой человеческие гекатомбы, приносимые большевиками, — то открытая поддержка кровавой диктатуры Сталина должна была вызвать недоверие и предубеждение даже и против утверждений объективных и бесспорных. Поэтому казалось, что в повороте к унизительному прислужничеству есть нечто роковое, что назойливое предложение услуг своих является логическим следствием ''приятия революции''. Раз оно допущено,

остается преклониться перед азбучными истинами, вроде той, что "революцию в перчатках не делают" и т.п.

Эта предательская моральная неустойчивость, вызывавшая острый внутренний раздор на глазах у иностранных хозяев, не могла не отражаться на их отношении к незваным гостям. А сюда еще присоединялись предпринимаемые на свой страх и риск единичные террористические акты: в Швейцарии был убит беженцем Воровский, в Варшаве — один из убийц царской семьи Войков, в Париже Шварцбарт отомстил за погромы убийством Петлюры. И совсем уже немотивированным был смертельный выстрел безумца Горгулова во французского президента республики Думера.

Собственно говоря, удивляться нужно, что при столь понятной душевной неуравновешенности кровавые выступления остались отдельными исключениями, но их было достаточно, чтобы ощутить беженцев, как тягостных чужеземцев, как бельмо на глазу.

Поддержка, оказываемая некоторыми государствами эмигрантам, все больше сокращалась и все больше уступала место суровым ограничениям в получении разрешения на въезд, в праве жительства, в праве на работу (в Англии даже на неоплачиваемую). В заседании состоящего при Лиге Наций Бюро Труда представитель Англии Вульф заявил, что международная помощь беженцам дело пустое. Помогать "международным бродягам", как он обозвал беженцев, не стоит и надо говорить не о расширении попечения, а о его скорейшей ликвидации. Вот тебе и просвещенные мореплаватели!

А со вступлением СССР в состав Лиги Наций эмиграция получила открытого непримиримого

врага: как только ставился на очередь тот или другой вопрос о помощи (ввиду уклонения от принципиальных решений вопрос этот в сущности с очереди не снимался), представитель советской власти высказывался резко отрицательно и в тех случаях, когда требовалось единогласие, добивался успеха.

Приходится, однако, констатировать, что, как ни груба была выходка Вульфа, как резко не нарушала гуманную традицию Англии, бывшей до сих пор верным убежищем для политических эмигрантов, — само по себе обозначение беженца международным бродягой вполне соответствовало фактическому положению. Как иначе назвать, например, маститого журналиста, бывшего корреспондента "Речи" из Болгарии и Турции, а потом корреспондента "Руля" из Парижа, В.В.Топорова-Викторова. Случайно узнав мой адрес, совершенно неожиданно ввалился он ко мне в Берлине, взлохмаченный, грязный, в обтрепанном пальто, хотя дело было зимой, и испугал своим угнетенным состоянием.

— Дайте прежде всего поесть, — ответил он на трафаретный вопрос — какими судьбами? — и, жадно насытившись, стал усталым спокойным голосом рассказывать свои злоключения.

В Париже он служил в русском отделе фирмы Ашетт, через которую большевики закупали все иностранные книги, атласы, карты и т.д. Позже, однако, они спохватились, что выгоднее покупать непосредственно у отдельных фирм, вследствие чего русский отдел фирмы Ашетт пришлось свернуть и, в частности, был уволен Викторов. Он перешел на службу к конкурирурующей фирме, а Ашетт предъявил ему обвинение в разоблачении

новому хозяину коммерческих тайн и сообщил об этом в надлежащее министерство.

Даже если допустить, что Викторов и не рассказал всей правды, — последствия этого доноса превзошли всякую меру: после долголетнего пребывания во Франции он получил приказ покинуть пределы страны. Не отсрочила постановления и смерть единственной его дочери, случившаяся как раз в это время.

— Я направился в Бельгию. Перейти нелегально границу можно очень просто: много бельгийских рабочих заняты в пограничных французских предприятиях и наоборот — французские в бельгийских, так что в определенные часы происходит оживленное, сквозь пальцы проверяемое движение в обе стороны. Добравшись до Брюсселя, я обратился к Вандервельде (маститый журналист, Викторов имел большие связи на политических командных высотах), который проявил горячее участие: "Однако, пока от министерства иностранных дел получится разрешение, вы уезжайте в провинцию, потому что здесь полиция ревниво следит за приезжающими иностранцами".

Викторов последовал совету и уехал, если не ошибаюсь, в Мальмеди, но именно там обратил на себя внимание полиции, выпроводившей его на границу Голландии. Здесь жандармы, дав ему несколько франков на дорогу, указали тропинку, по которой он может пробраться в Голландию, и напутствовали внушительными словами: "Не советуем пытаться вернуться в Бельгию!"

В Голландии повторилось буквально то же самое с той разницей, что роль Вандервельде сыграл здесь видный пастор, усердно помогавший бездомным. Викторов очутился в Люксембурге, где ему

удалось пробыть с неделю и добиться от местного литовского консульства разрешения на недельное пребывание в Литве. На этом основании местный германский консул разрешил проезд через Германию, но воспользовавшись этим Викторов направился не в Литву, а через Германию в Данию, где надеялся осесть при содействии редактора копенгагенской газеты, в которой когда-то работал.

В Копенгагене его на берег не пустили, на том же пароходе он вернулся в Гамбург, здесь полиция сжалилась, согласившись смотреть сквозь пальцы на его, но не больше чем двухдневное пребывание, и рекомендовала направиться в Берлин: "Там много русских и вам легче будет укрыться".

— Вот так на шестом месяце скитаний я и добрался до Берлина и до вас. Спасибо за хлеб-соль! А можно мне соснуть у вас часа на два?

— Вы можете и переночевать здесь.

— Нет, благодарю, боюсь подвести вас тоже под категорию тягостного чужеземца.

На ночь он отправился в ночлежный дом, я же попытался через влиятельного приятеля — литовского гражданина, добиться восстановления уже просроченной литовской визы. Викторов утверждал, что если бы ему дали возможность спокойно просидеть на месте неделю-другую, он разыскал бы своего брата в Польше.

Консул заявил, что не вправе восстанавливать действие визы без разрешения из Ковно. Ждать Викторов не соглашался: как травимому зверю, ему отовсюду чуялась опасность, и от этой тревоги спастись можно было только перемещением.

— В ночлежном доме рискуешь снова попасть в полицейские лапы. Лучше уж проберусь фуксом в Польшу — не привыкать стать.

Правление Союза литераторов разрешило дать ему из нашей кассы деньги на проезд, и через несколько дней пришла почтовая карточка из Познани, в коей он сообщал, что разыскал-таки своего брата и надеется отдохнуть от травли. А еще некоторое время спустя наступило полное отдохновение — в эмигрантской газете появилось сообщение о смерти Викторова в Болгарии.

Исключением случай этот представляется лишь в том отношении, что Викторов был не рядовым беженцем, имел знакомства среди сильных мира сего, готовых оказать содействие. А вся масса, большей частью с плохим знанием или совсем без знания языка, предоставленная усмотрению мелких властей и ограниченная в праве на честный труд!..

Взятка беззастенчиво угнездилась в административном аппарате всей культурной Европы, причем, увы! и тут ловкачи среди беженцев сумели умудриться сделать себе профессию из посредничества между дающими и берущими. Но в совершенно безвыходное положение попадали неимущие, бездомные, на которых обрушивались запрещения дальнейшего пребывания и высылки за пределы данной страны в соседнюю. Оттуда их обычно препровождали обратно, здесь за противозаконный въезд предавали суду, на суде защитник доказывал нелепость применения карательного закона к лицам, лишенным отечества, не имеющим куда деваться, принудительно возвращаемым из соседней страны, куда они были высланы — суд признавал доводы правильными, но обязанный исполнить закон, приговаривал обвиняемого к тюремному заключению, по отбытии которого он снова подлежал высылке. Происходило совсем так, как во времена

давно прошедшие, когда Аксаков, говорил, что "юридические данные, требуемые тогдашним законом, все на лицо, безукоризненны по форме — и как бы не вопияла совесть, ничего не остается, как совершить суд... и неправду".

Разве это не фантасмагория, что характеристика, клеймившая порядки крепостной России сто лет назад, пришлась точь-в-точь по мерке европейскому культурному суду двадцатого столетия, справедливо гордящемуся необычайными завоеваниями человеческого ума. И сплошь и рядом бывали случаи, что прозябание такого беженца долгими годами сводилось к высылке, возвращению, аресту, суду, тюрьме, высылке и т.д.

Да и не требовалось даже личного, вредного общественному порядку поведения, чтобы превратиться в "тягостного иностранца". Достаточно громкого преступления, совершенного или только приписываемого иностранцу, чтобы вспыхнула ксенофобия, чтобы отношение к беженцам окрасилось суровым недоброжелательством.

В 1929 году в Абиссинии скончалась императрица при загадочных обстоятельствах: этого оказалось достаточно, чтобы начались аресты и высылки русских беженцев. В Париже после исчезновения генерала Миллера и почти одновременного террористического взрыва в домах на площади Этуаль, управление городскими домами заявило, что "после того, что случилось, мы больше не сдаем квартир иностранцам".

— А что случилось?

— Как! А взрывы на площади Этуаль!

Преступниками оказались французы, но тогда они открыты еще не были. Догадки и подозрения во всяком случае не должны были упасть на беже-

цев, но скорее уж на агентов советской власти, на чем некоторые французские газеты и настаивали. Но тщетно...

Параллельно этому менялось постепенно и отношение к большевикам, но в сторону обратную. Изначальная острая ревнивая враждебность стала перемешиваться с вожделением прибыли от "врагов Христовых", а со времени заключения торговых договоров большевики становились все более желанными гостями даже и в тех государствах, которые (больше по инерции, сменившей военное напряжение) не восстановили дипломатических отношений с Россией.

Столь благоприятный поворот советская власть не погнушалась широко использовать для чувствительного нажима на беженцев. Так, после признания Болгарией, издававшаяся в Софии эмигрантская газета, вынуждена была эвакуироваться в Белград. В Праге, после признания Чехословакией, стали запрещаться собрания эмигрантов, прежде не встречавшие никаких препятствий. В Париже, после установления франко-советской дружбы, редактору русской газеты категорически было предложено умерить нападки на Москву.

Больше того: во время суда над Плевицкой, обвиняемой, в соучастии с ускользнувшим Скоблиным, в таинственном похищении генерала Миллера, полицейский комиссар Шовино свидетельствовал, что его внимание было привлечено внезапным поспешным отплытием из Гавра советского парохода "Мария Ульянова" в день исчезновения Миллера, — отплытием тем более подозрительным, что оно произошло немедленно после доставки грузовиком большого тяжелого ящика, погруженного

на пароход не носильщиками, как обычно, а четырьмя матросами. В ответ на рапорт о необходимости расследовать эти обстоятельства и попытаться задержать в пути "Марию Ульянову" из Парижа командирован был чиновник, который заявил Шовино:

— Ваш рапорт весьма неуместен. Мы поддерживаем сердечные отношения с полпредством, а ваши глупости грозят их испортить.

Чтобы оградить добрые отношения от такой опасности, министр внутренних дел Дормуа не только отстранил ретивого комиссара от производства дознания, но переместил его на другую должность.

Вместе с тем, получаемое советской властью признание существенно облегчает агентам коминтерна доступ заграницу для руководства разлагающей деятельностью коммунистических партий, с которой правительства продолжают вести энергичную борьбу. На этой почве разыгрываются порой забавные qui pro quo — в былое время и они считались монопольной особенностью царского режима, отображенной Щедриным в учреждении двух параллельных департаментов — департамента препон и департамента споспешествований.

Однажды в Берлине ко мне явился полицейский комиссар, чтобы осведомиться, числятся ли такие-то два Имярека в составе Союза литераторов. Фамилии были мне известны.

— Они выдают себя за литераторов. Не можете ли вы выяснить, что это за субъекты?

Воспитанный на российских взаимоотношениях между литературой и участком, я сказал, что такая задача не входит в компетенцию председателя правления литературного союза. Гость мой так и вскинулся:

— Как! Вы не считаете своей обязанностью помочь полиции в разыскании преступника?

— А в чем вы их подозреваете?

— Они, по нашим сведениям, подпольно печатают и распространяют антирелигиозные листовки и брошюры.

Я не мог не рассмеяться:

— Зачем же вы бегаете днем с фонарем? Прогуляйтесь-ка на угол Курфюрстендамм и Оливерплац, загляните в витрины давно уже существующей там книжной лавки и вы увидите богатейший ассортимент кощунственных книг и карикатур, открыто продающихся.

Он вскочил с места и с негодованием воскликнул:

— Херр Доктор, я пришел по серьезному делу.

— Смею вас уверить, что и я не шучу.

— Да неужели это возможно? Мы делаем одно, а министерство иностранных дел поступает нам наперекор. Как же нам бороться с коммунистами? Кстати сказать, тоталитарный режим это противоречие уничтожил, пойдя сам по стопам коммунистического безбожия.

Трудно было не воспользоваться столь соблазнительным расхождением между двумя департаментами. Это и делали заграничные агенты "Разведупра", проявлявшие до дерзости смелую деятельность: восстание в Гамбурге, взрыв колонны Победы в Берлине, взрыв в Софии, убийства из-за угла в разных европейских столицах... Все это сходило с рук безнаказанно, на худой конец Москва принимала "превентивные меры", заблаговременно захватывая и приговаривая к смертной казни приглашенных иностранных специалистов и доверчи-

вых туристов, чтобы потом щедрой рукой обменивать их на незадачливых советских агентов, попавшихся в полицейские лапы.

Так, живо вспоминаю этот московский дебют: обмененного вместе с двумя спутниками на несколько "засыпавшихся" чекистов желторотого студента Киндермана, одним из первых рискнувшего совершить турне по России с поручением "Берлинер Тагеблатт" описать для газеты свое путешествие. Он с товарищами был схвачен, заточен, приговорен к смертной казни и еще после этого долгие месяцы томился в тюрьмах и тюремных карцерах, пока длился обменный торг. Вырвавшись наконец на родину, он весь горел словесным обетом Гамлета: "Мне помнить о тебе? Да пока есть память в черепе моем!" Он действительно как будто стер все прошлое, "все изречения книг, все впечатления, минувшего следы и наблюденья юности" и оставил себе только одно — борьбу с большевизмом, ставшую "категорическим императивом". Только этим он был поглощен, ни о чем другом думать и говорить не мог, вопреки тому, что "департамент споспешествований" — министерство иностранных дел — настойчиво рекомендовал ему, как и вообще всем обмененным, держать язык за зубами.

Потрясающее описание страшных перипетий такого обмена дал в "Архиве Русской Революции" такой же смертник — заложник Бруновский, человек, уже видавший всякие виды, но тоже получивший от этого эксперимента над ним неизлечимую душевную рану.

Случалось, впрочем, и так, что источаемая советской властью энергия переполняла чашу европейского терпения и "департамент препон" выхо-

дил из себя: как торжествовали мы в редакции ''Руля'', когда в Берлине полицай-президиум произвел обыск в здании торгпредства или когда в Лондоне грубо потревожили Аркос. Но тогда советская власть вставала на дыбы, изображая оскорбленную невинность; требовала извинений, смещения виновных и... получала требуемое, сим удваивая энергию для новых, все более смелых эскапад. Разве же это не фантасмагория?..

МЕТАМОРФОЗЫ

Этой темы приходилось уже многократно касаться во всех предыдущих главах по самым различным поводам. Иначе оно и не могло быть, потому что метаморфоза показала себя стойким перманентным элементом беженского бытия.

Некоторое представление об этом состоянии дает опубликованный В.А.Маклаковым разговор его с генералом М.А.Алексеевым накануне осуществления заговора Корнилова. Глубоко веря в успех заговора, генерал спрашивал, как Корнилов должен реализовать победу. Маклаков считал, что в таком случае должно восстановить монархию. вернувшись к манифесту об отречении государя, как последнему законному акту.

Алексеев был поражен:

— Как, вы хотите восстановить монархию? Это невозможно!

— Наши роли совершенно изменились, — ответил Маклаков, — вы, генерал-адъютант императора, лицо из ближайшего его окружения, протестуете против монархии, а я на ней настаиваю.

— Вы правы. Но это потому, что я знаю подлинную монархию лучше, чем вы, а потому-то и не желаю ее.

— Может быть! Но зато я знаю лучше вас политических деятелей и вот почему ничего не ожидаю от вашего предприятия.

Чем охотнее собеседники признавали основательность высказанных суждений, тем понятнее, что такое безверие в свои силы, ощущение пустоты парализовало разборчивость в отношении новых комбинаций, ослабляло противодействие соблазнительным метаморфозам.

Любопытную в этом отношении группу составили так называемые невозвращенцы — чиновники полпредств и торгпредств, отказавшиеся подчиниться вызову в Москву. Этому все чаще и чаще предшествовали какие-нибудь нелады с местным резидентом ГПУ или командированным из Москвы ревизором (грозой считался Ройзенман — бывший кочегар). Отказ вернуться в Москву вызывался опасением, что за приглашением скрывается желание получить имярека в пределы карательной досягаемости, вследствие чего он предпочитал уклониться от зова ценой разрыва служебных отношений и остаться за границей. Чем дальше, тем все прогрессивней учащались такие случаи, и вскоре образовалась значительная группа, давшая новую тему для "дискуссии": о третьей эмиграции. Так волновавший и расслаивавший беженство вопрос о возвращенстве сменился столь же горячим спором о невозвращенстве, послужившим питательным материалом для пышного разнообразия суждений.

Когда, после столкновения с упомянутым Ройзенманом, заместитель парижского полпреда Бе-

седовский с помощью акробатического прыжка через забор дома посольства на улице Гринель бросился в ряды невозвращенцев, ''Последние Новости'' снова поспешили указать, что он нашел в редакции ''наиболее родственные себе взгляды, что действительно сходство воззрений налицо и Беседоский найдет сочувствие и поддержку среди РДО, пока будет разделять высказанные убеждения''.

Напротив, орган Керенского ''Дни'' старательно отгородился: ''Беседовского можно выслушать, не выпуская таких людей под своей фирмой'', и действительно ''даже среди близких нам кругов и вообще среди демократических и социалистических групп не все отнеслись одобрительно и спокойно к появлению здесь, на собраниях ''Дней'', бывшего члена советского посольства''.

Понятно, что ''Возрождение'' метало молнии, но ''Последние Новости'' объяснили это негодование не разницей взглядов, а тем, что сгоряча Беседовский искал убежища в ''Возрождении'', а потом уразумел, что попал туда по ошибке. Догадку газета подтверждала ссылкой на другого невозвращенца Бажанова, бывшего секретаря Сталина, нашедшего приют в ''Возрождении''.

Когда же Беседовский приехал в Берлин, то на его публичном докладе резко высказался против общения с невозвращенцами мой соредактор Г.Ландау, а вскоре и ''Руль'' получил своего невозвращенца в лице советника стокгольмского полпредства Дмитриевского, так что мы стали напоминать польских помещиков антисемитов, из коих каждый имел при себе ''своего жида'', которому он доверял. Поэтому на диспуте о невозвращенстве, устроенном Союзом литераторов, я мог отметить, суммируя

высказанные суждения, что ''зарубежная пресса склоняется к принятию новой эмиграции в свою среду, но в беженской толще остается психологическое отталкивание, вполне понятное после долголетней разлуки... Весьма важно задуматься над тем, какое впечатление произведет примиренческое отношение ко вчерашним представителям советского аппарата на родине, где этот аппарат так ненавистен, и несомненно, что излишняя экспансивность некоторых ''руководителей'' должна была вызвать смущение... Но, быть может, она объясняется тем, что в новой проблеме эмиграция улавливает весть о близком крушении, о приближении давно жданного конца''.

Сами невозвращенцы, вероятно, не без влияния этой экспансивности, готовы были считать себя ''избранными'' и, подобно высланной за границу в 1922 году группе профессоров, пытались обособиться в самостоятельный клан. Громко об этом заявил Беседовский, который сумел даже основать свой орган ''Борьба'', похвастав ссылкой на французских политиков: они-де проявляют к нему, хотя и не открыто, большой интерес, и притом ''в таких формах, которые для молодой группы наиболее привлекательны''. Со своей стороны, Беседовский противопоставлял французским политикам руководителей Вильгельм-штрассе, которые, ''по сведениям из высокоинформированных источников'', находятся в плену у советской власти. Однако привлекательные формы оказались весьма нестойкими, и журнал быстро скончался, да и сам Беседовский бесследно отшумел и тоже затерялся в беженской массе.

Когда через несколько месяцев Дмитриевский повторил парижский прецедент, он выступил в ''Ру-

ле" с решительным протестом против обособления: "Никакой третьей, никакой особой эмиграции. И так достаточно групп, партий, фракций, сект". Жизнь идет вперед, и потому, раньше или позже, невозвращенцы "утратят свою новизну и самобытность, войдут в общую атмосферу эмигрантского бытия и займут то или иное место, сообразно своей индивидуальной ценности в общеэмигрантских рядах, и только".

Так оно и оказалось, но в кратковременную эпоху расцвета невозвращенства и разоблачения "тайн мадридского двора", в которых перебежчики старались превзойти друг друга, печатались они не только в эмигрантских, но и в иностранных газетах и дали неисчерпаемую тему для собраний, разговоров и споров, значительно ожививших мертвяще однообразную обстановку. И в этом отношении Дмитриевский протестовал против "перемывания грязного белья", старался подняться над частностями, над отдельными уродливыми признаками, определить сущность болезни и поставить прогноз дальнейшего хода ее.

Ни разу мне не пришлось беседовать с ним наедине: неизменно присутствовала жена-художница с очень бойким языком, вмешивавшаяся в диалог не как участница беседы, а как соучастница мужа, и развивавшая его мысли в переложении на язык житейских соображений. Вдвоем они объехали главные центры эмиграции, знакомясь и нащупывая настроения разных групп, а вернувшись после объезда в Берлин, говорили, что не нашли берега, к которому можно было бы причалить.

В ударном порядке (как он сам подчеркивает в предисловии) Дмитриевский выпустил книгу "Сталин", в которой тщетно стараясь расправиться

с противоречиями, постепенно увлекается до провоглашения Сталина "вождем, избавителем, пророком нового мира, которого тысячи тысяч людей готовы поднять как знамя и итти за ним, куда угодно и на что угодно", хотя страницей дальше мы узнаем, что "он правит страхом и интересами, а не привязанностью — перед ним все дрожат".

Одновременно Дмитриевский пытался завязать сношения с правыми немецкими кругами. Если не ошибаюсь, он приезжал в Берлин уже при гитлеровском режиме, но никаких внешне осязаемых результатов не обнаружилось, и этот видный представитель третьей эмиграции тоже потонул в беженской безвестности.

Относительно Беседовского, из случайной газетной заметки, я узнал, что от "политической борьбы" он перешел к управлению гаражем. В русском Париже держались также слухи, что он пристроился при министерстве иностранных дел экспертом по вопросам Дальнего Востока. О дальнейшей судьбе Дмитриевского ничего не приходилось слышать.

Может быть, их жизненная неудача в какой-то степени повлияла на психику советских сановников и они стали покорно следовать все учащающимся и все более тревожным вызовам в Москву и заканчивать там свою дипломатическую карьеру. Большинство было обвинено в шпионаже и предательстве и поразило мир чудовищными признаниями и уличением друг друга — перед лицом смерти — в правильности взводимых на них обвинений.

После расстрела почти поголовно всех дипломатических представителей СССР, румынский полпред Бутенко отказался поехать в Москву, но разве более вероятно, чем упомянутые признания, его письмо в редакцию эмигрантской газеты, в кото-

ром он говорит ”о дорогой моему сердцу русской душе, преисполненной ненависти против большевистского вандализма”, сообщает, что работа над книгой о России ”несколько заглушает неизъяснимую боль по несчастной жене и шестилетней дочери Лилечке, ставшими теперь жертвами террора” и поручает их всевышнему милосердию: ”да спасет Бог их невинные души”!

Разве такая метаморфоза, вернее — такая экспансивная демонстрация метаморфозы из Савла в Павла, со вчера на сегодня, не представляется такой же фантасмагорией?..

Правда, все это относится только к ”ведеттам”, пытавшимся стукнуть дверью и шумно ринуться в борьбу со вчерашними господами своими. Большинство же скромненько и тихохонько отряхало советский прах от ног и, сохраняя титул ”левого”, предавалось фантастическим коммерческим или биржевым спекуляциям.

Однажды я был приглашен в суперарбитры третейского суда между группой лиц, кормившихся около советских поставок и, как водится, не поделивших барыши между собой. Надо сказать, что торгпредство принимало меры против посредников — в здании висела ”черная доска”: список лиц, которым вход запрещен, а в формулярах договоров содержалось указание на высокий штраф, налагаемый на контрагента в случае уплаты им ”комиссии” посреднику.

На третейском разбирательстве стороны оглушали пяти и шестизначными цифрами, обвиняя друг друга в сокрытии и присвоении полученного от германских фирм куртажа, подлежавшего дележу между всеми. А все содействие фирме заключалось в сообщении добытых от служащих сведений

о полученных из Москвы поручениях, что давало возможность ориентироваться в составлении смет, представляемых в торгпредство.

Повидимому, стороны сами испугались посыпавшихся перед поторонними лицами разоблачений и после двух заседаний суда покончили спор каким-то миром, так что суду не пришлось добраться до корня вещей. Но один из участников рассказал мне, что как-то торгпредством был предъявлен миллионный иск к крупнейшей баварской фирме за ставшую истцу известной уплату куртажа посреднику. Стало же это известно по доносу самого посредника, который засим предложил фирме дружеские услуги для ликвидации судебного процесса мирным соглашением, и на этом заработал еще триста тысяч марок.

Само собой разумеется, что гораздо больше разнообразия (впрочем, только кажущегося) представляли метаморфозы среди эмиграции. Здесь они стремительно проявлялись и в направлении сталинизма, и в сторону двойника его — фашизма. Стремительность приобретала иногда оттенок чисто анекдотический, как например, в случае с Лундбергом, бывшим сотрудником "Речи", а затем руководителем левого издательства "Скифы", которое объявило о выходе в свет книги философа Шестова о большевизме.

В беседах со мною Лундберг, только что "вырвавшийся" из России, то и дело кичился своим гражданским мужеством: ему удалось убедить советских сановников издать книгу "глубокоуважаемого учителя", блестяще вскрывающую гибельную сущность большевизма. Меня Лундберг просил удостоверить перед германской полицией, что он не

имеет никаких отношений с большевиками. Но пока книга печаталась, Лундберг успел обосноваться в берлинском советском официозе "Накануне", меня перестал узнавать, а книга в свет не вышла. Воскресла некрасовская формула: "Пропала книга! Уж совсем была готова, вдруг пропала!", потому что Лундбергу вдруг стало ясно, что "книга нехороша психологически и литературно". Попутно он еще признал, что состоял на советской службе с 1917 года, хотя и уверял, что не имеет отношения к большевикам. Или — страстный кадет Гурович, состоявший уже на советской службе до того как ему удалось бежать из России, дал для "Архива Русской Революции" яркое описание порядков в совнархозе, но когда статья была уже сверстана для очередного номера журнала, умолял вернуть рукопись, так как успел вновь определиться на советскую службу. Я не видел оснований тратиться на переверстку ради содействия его метаморфозе, но и появление статьи не повредило его благополучию.

Больше всего меня поразили литературные выступления известного писателя Д.С.Мережковского, близкого к эсеровским кругам, друга и покровителя Савинкова. Оды Державина представляют, можно сказать, беспомощный лепет в сравнении с псалмами, напечатанными сначала в честь Пилсудского, а потом Муссолини, они соревнуют с изумляющей нас апологией Сталина, которой так усердно предаются подневольные советские поэты.

Сохраняю номер "Иллюстрированной России", в котором Мережковский опубликовал "отрывок из книги о Данте", по содержанию посвященный Муссолини, и, перечитывая его, хочется протереть

глаза, чтобы проверить свое зрение. Мережковский получил от диктатора разрешение "задать ему несколько вопросов о Данте, не слишком много и не слишком трудных". Не сразу решается Мережковский поведать, что Муссолини ответил: "не знаю можно ли сказать и должно ли говорить", но "ответ Муссолини слишком значителен, чтобы я мог вовсе о нем умолчать". Колебания объясняются необычайным впечатлением, производимым личностью диктатора: "Это не страх, а смутное беспокойство, неизъяснимая тяжесть, жуткость, которую испытывают люди, подходя к тому, к чему не следует подходить, и заглядывая туда, куда не должно заглядывать... Это нечто подобное тому, что испытал Фауст, когда ему явился Дух Земли". Да и как же иначе: "Как у Данте, челюсти у Муссолини большие, и нижняя выдается вперед", как у Данте, "глаза большие, на все открытые, всепожирающие — ясновидения знак", и вместе с тем "такие правдивые, как только у самых маленьких детей, или еще иногда у зверей и, может быть, всегда у богов". А голос — "как будто тихий, глухой, глубокий, как бы из подземных глубин доносящийся, а на самом деле громкий, всю исполинскую пустую залу венецианского дворца наполняющий".

Вопросов "о Данте" было поставлено три: какая борьба с коммунизмом возможна — национальная или только всемирная, второй — что значит провозглашение "римской империи" (это было после завоевания Абиссинии) — вечный мир или вечная война, и третий — о возможном соединении государства с церковью.

Ответ Муссолини, повторяет Мережковский, слишком значителен и вызвал "удивление или, точнее, три удивления": "первое — великое, что он

прост, второе большее, что он добр, и третье величайшее, что он смиренен". Самый же ответ Муссолини таков: "Я не могу вам ничего ответить на ваши вопросы". — "Почему?" — "Потому что на вопросы Данте не мне отвечать!"

Конечно, Муссолини не только не вызывал на сочинение оды, напротив — предупредил собеседника, что протестует против сопоставления с Данте: "Не хочу быть смешным".

Выступление Мережковского не привлекло ничьего внимания. Правда, мне бросились в глаза строки из фельетона Адамовича в "Последних Новостях": "То, что четверть века тому назад показалось бы совершенно невероятным, неслыханным и чудовищным, что взволновало бы весь мир, сейчас, в контексте остальных событий, проходит гладко, незаметно, потому что притупилась впечатлительность... Одна из самых больших опасностей нашего времени — в способности привыкать ко всему".

Но эти взволнованные строки относятся не к нам, а к нашим антиподам — советскому "монтажу" в честь Сталина и анафематским громам на головы ленинской гвардии, которые Сталин оптом рубит. На наших собраниях много спорят и предлагают различные объяснения странному поведению судимых советским судом, спешащих признать себя и уличить товарищей во взводимых на них преступлениях.

Однажды на таком собрании, где приехавший из Москвы французский журналист сообщал о своих впечатлениях от зиновьевского процесса, я заметил, что едва ли следует изощряться в догадках, каким водействием подсудимые доведены до такого состояния: они-то ведь смотрят в глаза смерти, испы-

тывают неизъяснимую предсмертную тоску, а не неизъяснимое удивление. Несомненно, я совершил ошибку, и последовавшее молчание воспринял не как согласие, а как упрек в неуместном отступлении от волнующей беседы по "текущему моменту" — в сторону докучных банальностей беженского бытия.

Наряду с поражавшими меня разнообразными идейными метаморфозами, которым мы отнюдь не были чужды и до катастрофы (в достаточно яркой мере это можно было наблюдать после разгромленной революции 1905 года), происходил менее заметный, но, пожалуй, более глубокий процесс бытового, если так можно выразиться, преображения.

Одним из отличительных свойств русской интеллигенции было умелое сопротивление губительному влиянию профессионализма, движимое увлечением общественными интересами. У эмигрантов общественный интерес заменился в чужом пиру похмельем, не осталось места и для выбора профессии — приходилось жадно хвататься за любое занятие и считать себя счастливцем, если вообще что-нибудь попадает под руку.

Привожу для иллюстрации выдержку из письма бывшего петербургского чиновника, кабинетного человека, крупного домовладельца. После нескольких лет полуголодного прозябания в Берлине он решил попытать счастья в Бразилии, куда и добрался всякими правдами и неправдами: "... на четвертый день по прибытии сюда я уже работал по окраске фасада на 23-24 этажах единственного небоскреба в Сан Паоло... Несколько рабочих уже разбилось и потому эту работу нетрудно было получить... На внутреннюю отделку дома был забракован, так как

— сами понимаете — я не маляр, а любитель. Сделался на несколько дней пекарем, потом получил место в провинции на сахарном заводе в лаборатории, но внезапно прекратили продукцию из-за кризиса, вернулся в Сан Паоло. А тут понаехала масса русских, посланных Лигой Наций, и конкуренция стала еще острей. Случайно попал к инженеру поляку на топографические съемки, на которых, за отсутствием здесь специальной школы, землемерами работает много врангелевских офицеров... Работа больше топором и фойсой (кривой нож) в тропическом лесу. Сразу вся одежда изорвалась в лохмотья, и тем свободнее кусали всякие насекомые. Самое скверное — подкожные блохи, они, кусая, кладут яички под кожу, нужно это место прорезать, чтобы уничтожить зародыш, иначе адская боль и опасность заражения крови... Едва выдержал три недели и вернулся в Сан Паоло мыться и лечить раны".

После продолжительных поисков он уже на немецкой фабрике живописи по стеклу чертежником и рисовальщиком на пониженном жалованье — "оклад, чтобы только есть и спать, но я был несказанно рад и этому". На этот раз благополучие было нарушено сожителем по комнате — немцем, обобравшим товарища до последней нитки, и, наконец, по рекомендации друзей из Берлина, удалось устроиться в Рио де Жанейро "фотографом-репродуктором на минимальном жалованье, но зато с обязательством подучить меня всем процессам работы на ротационной машине".

Не сомневаюсь, что всякий, кто уделял внимание злополучию беженства, воскликнет, прочтя эти строки, оборвавшиеся пока на "хэппи энд": — Э! да это еще что! Знаем концы совсем иные: здесь, в Париже, беженец, оставшись после долгой безрабо-

тицы без хлеба и крова, пришел с женой и двумя малолетними детьми на вокзал и, доведенный до исступленного отчаяния плачем изголодавшихся ребят, размозжил им головы, бросив их о каменный пол.

Но цитированным письмом я хотел лишь подтвердить, что, при необходимости, во избежание голодной смерти, хвататься за любое занятие — требуется отдать новой случайной профессии все свое внимание, уйти в нее всеми думами и помышлениями, с головой погрузиться в ее атмосферу, закрыть уши и глаза на все окружающее, чтобы ничто не отвлекало зоркости, усердия и энергии при выполнении порученной работы.

Бывший профессор стал деревенским пастухом: какое напряжение нужно ему, чтобы уследить за стадом, чтобы не забыться в умственных размышлениях. Бывший офицер кавалерийского полка добился места конюха в цирке Саразате. Он должен начисто отрешиться от всех своих привычек и повадок, насквозь протухнуть атмосферой конюшни и цирковых интересов, всячески доказывать, что не является элементом чужеродным, иначе безжалостно будет извергнут...

Такую изумительную перемену облика мне довелось видеть на корнете крымского конного ее величества государыни императрицы Александры Федоровны полка — М., близком царской семье. Пасынок ялтинского градоначальника, он постоянно бывал при дворе, когда царская семья приезжала в Ливадию. М. прислал для опубликования в "Руле" чрезвычайно интересное письмо, в котором описывал свое участие в попытках освобождения и увоза находившейся сначала в Тобольске, а потом в Екатеринбурге царской семьи, рассказал, между

прочим, о поездке в Германию и свиданиях с братом императрицы, принцем Гессенским и братом Вильгельма Генрихом Прусским. Письмо корнета вызвано было появившимся в печати в связи с изданной "Словом" книгой Н.Соколова "Убийство царской семьи" неодобрительными отзывами о двусмысленной роли М. и содержало очень ценные данные, из которых он делал вывод, что "мы, рядовые участники (попытки освобождения) в нужный момент всегда оставались без руководителей". Упрек относился, главным образом, к организатору, родственнику и однофамильцу корнета.

Преследуя цель самооправдания, письмо было весьма сжатым, ссылалось на преждевременность некоторых разоблачений, а мне хотелось получить для "Архива Русской Революции" как можно более подробное описание этого исторического эпизода. Я и написал М. по указанному им адресу в Вену, он ответил, что считает необходимым личное свидание, и предложил написать ему от издательства приглашение приехать для переговоров: он-де предъявит это письмо управлению общества спальных вагонов, в коем состоит на службе проводником на линии Вена-Константинополь, и попросит перевести его на неделю на линию Вена-Берлин.

Так мы и сделали, и хорошо помню проливной дождь в день нового 1926 года, когда М. приехал в Берлин. В этот день "Руль", после разрыва с Уилльштейном переезжал в новое помещение, беседовать там было неудобно, и я заблаговременно пригласил М. прийти ко мне к обеду. Он сильно запоздал, объяснив это незнакомством с берлинскими порядками перевода спального вагона на запасной путь: "А тут еще такой проливень".

Не без труда стянул он с себя совершенно мок-

рое, цвета хаки пальто, да и куртка носила следы ненастья. Лицо нашей вышколенной на специальных курсах немецкой прислуги выражало полное недоумение, когда М. сел за стол рядом с хозяйкой. Как так? Проводник, ее родня, за барским столом, а она должна ему услуживать! Но с другой стороны, какой же это проводник — такой изящный, с такими изысканными манерами — не грех бы и барам моим у него перенять! Хорошо еще, что нашего разговора она не понимала: не сочтет ли он бестактностью — думал я — если спросить, как он чувствует себя на службе. Она обеспечивает, будет ответ — кусок хлеба насущного — вот и все! Вот и все! Однако смущение мое переключилось в противоположном направлении, когда гость оживился, почувствовав себя в своей тарелке, и с большим увлечением стал рассказывать:

— Благодарение Богу, мне очень повезло, больше всего благодаря знанию иностранных языков, которым обучился у гувернеров во дворце. Служба приятная, легкая, чистая. Конечно, приготовить и убрать постель меня не обучали, но наука несложная и сноровка вырабатывается быстро и прочно. Случаются малоприятные неожиданности, но редко: недавно наш экспресс попал в снежные заносы и застрял между двумя станциями. Заготовленной провизии не хватило, пришлось пробираться за несколько километров, увязая в глубоком снегу, за съестными припасами и папиросами. Зато пасажиры расщедрились и этот рейс принес чаевых вдвое больше обычного.

— Как чаевые? — невольно вырвалось у меня.

Он улыбнулся:

— Вы шокированы — конногвардеец и чаевые! Поначалу и мне вспоминалось, с каким пренебреже-

нием сам когда-то одарял хамов, а теперь хамами считаю скаредов и с удовольствием ощущаю в руке крупную монету. И знаете ли, что я еще скажу: много я перевидал этих пассажиров экспресса и, уверяю вас, ни разу не позавидовал — все это либо скучающие, либо тревожно спешащие. Кто это удачно сказал: это не жизнь, а скетинг ринг? Ноги скользят, животы трясутся. А у меня никаких забот, никаких вожделений, живу, как у Христа за пазухой. Одна забота — не потерять бы места. Больше, открою вам: от скуки пассажиры норовят вступить в разговор и, узнав — я не стесняюсь — чем я был когда-то, начинают смущенно ерзать и уж вовсе теряются, суя в руку щедрую подачку. Может быть — скверное это, мелкое чувство, но признаюсь, что я испытываю не то гордость, не то злорадство — поставил-таки в неловкое положение. То или другое — но вспыхивает ощущение своего превосходства, и так сильно, как не бывало прежде, когда считал себя солью земли. И хочется еще глубже уйти в роль проводника. А то еще бывало на первых порах — что-то взбудораживалось в душе, когда отобрав у пассажиров билеты и паспорта для ночного контроля на границах, я находил среди них красную паспортную книжку советского сановника. С каким наслаждением задушил бы его, а должен оберегать его сон. Что же делать, потом и к этому привык. Так и живем — порхаем: Вена — Константинополь, Константинополь — Вена.

Мне вспомнился яркий трепетный рассказ Сирина о мучительной душевной борьбе беженца-офицера, ставшего парикмахером. Он узнает в посетителе, которого бреет, смертельного врага — большевика из времен гражданской войны — на острие бритвы колеблется грань между жизнью и смертью,

вот-вот бритва выйдет из повиновения, и грань потонет в крови.

Никаких следов такой душевной драмы на госте моем я не заметил и, грешным делом, подумал: прав поэт, говоря о себе — тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман!...

Полную противоположность представил мне неожиданный визит, совсем не соответствовавший сложившейся обстановке. В Париже, где каждый — вольно или невольно — занят собой, я, прочно сжившись с убеждением, что теперь уже никому не нужен и что никто искать меня не станет, принял бы этого робкого застенчивого посетителя за нуждающегося в материальной помощи, если бы не скромная, но франтоватая внешность. Смущенно запинаясь, он назвал свою фамилию, прибавив, что в течение двух-трех лет посылал корреспонденции в "Руль", аккуратно печатавшиеся. Сотрудников в "Руле" было много, и я никак не мог вспомнить фамилии С.

— Чем же теперь могу служить вам?

— Нет, мне ничего не нужно, но хотелось просто познакомиться с бывшим редактором моим...

Дальше последовали комплименты, которые я поспешил оборвать, чтобы общественно условная лесть не ослабила приятного впечатления от необычайного визита, воспламенившего мою сентиментальность. Это настроение сообщилось и гостю, развязало ему язык и он охотно обратился к прошлому.

Революция застала его, только что окончившего историко-филологический факультет, на Кавказском фронте. Гражданская война совсем выбила из колеи. Ни к белым, ни к красным не влекло, и,

воспользовавшись первой возможностью, он уехал заграницу, где удалось устроиться учителем в Болгарии. Но школа (эмигрантская) была вскоре ликвидирована, и после разных мытарств он попал в Париж и превратился в шофера.

— В то время безработица не давала еще себя чувствовать, иностранцы были элементом даже желательным, а не тягостным, от которого не мытьем, так катанием стараются избавиться, работал я как и сколько хотел. Правда, заработок сильно колебался, но если подойдет полоса удач, скопишь немного деньжонок, машину по боку и месяц-другой сам себе хозяин — делай, что хочешь. Теперь ввели коллективный договор, он обеспечивает минимальный заработок, но располагать собой уже нельзя — договор с фирмой очень сложный, предусматривает обязательную ежедневную явку на службу, отдых — каждый восьмой день, не разгуляешься. А еще хуже: я всегда избегал стоянок — топчешься на месте, бесцельные разговоры с товарищами, хвастовство необыкновенными удачами, вроде как у охотников на привале. А возьмешь с собой хорошую книжку и углубишься в нее, товарищи косо смотрят и фыркают в твою сторону. Да они и правы: если вдруг седок прервет интересное чтение, смотришь на него осоловело, не сразу справляешься с рулем, того и гляди — авария. Поэтому я избегаю стоянок, выработал себе определенные маршруты и ловлю седоков на ходу. Но и тут препоны по новым правилам — посадить пассажира позволяется не ближе 50 метров от стоянки, нужно внимательно ориентироваться и лавировать, чтобы не попасть под протокол. Ну, да что об этом говорить, вам неинтересно. А книг-то сколько у вас. Я тоже собрал порядочную библиотеку.

Он вынул из кармана несколько любительских снимков, на которых были изображены различные части его собрания.

— У меня уже есть около 1500 томов.

— Так вы барином живете?

— Нет, здесь я живу в комнате, на девятом этаже, но удалось дешево, задаром приобрести участочек земли в двух часах от Парижа. Сам, почти сам выстроил домик — да как бы вы думали — двухэтажный, там и храню книги, все больше редкие — для России. Теперь редко доводится ездить в свое поместье — на день не стоит, только когда выходной день падает на воскресенье, полагается захватывать и понедельник. А впереди двухнедельный отпуск. Летом очень удобно, там живет у меня жена приятеля с дочкой, все чисто, убрано, обед тебе готов, нужно лишь внести свою долю стоимости. Видите, как удачно вышло: и не женился, а хозяйство налажено.

Из дальнейшей беседы выяснилось, что он имеет знакомых среди старых приятелей моих, от которых узнал мой адрес, и вообще он тяготеет к среде бывшей интеллигенции и живет в сфере духовных интересов, причем настойчиво утверждал, что вовсе не является белой вороной среди товарищей по профессии.

Я охотно рассказывал об этой, порадовавшей меня встрече, но один из друзей, человек близкий по мировоззрению и душевному строю, огорошил меня неожиданным заявлением:

— В вашем восторженном рассказе внимание останавливается на двух пунктах. Во-первых, в гражданской войне ваш новый фаворит предпочел за благо умыть руки, а вы помните слова поэта — кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны

своей. Это — пустоцвет. А, во-вторых, это уже общее замечание, ваш подход в корне неправилен. Мы с вами все стремились человечество осчастливить, не правда ли? Ну-с, если перебежчик — по вашему выражению — чувствует себя на новом этапе привольно, удовлетворенно, потому ли что отстоял прежний интеллигентный кругозор, или потому что приспособился к новой атмосфере и дышит в ней, как рыба в воде, — какого вам еще рожна нужно? И согласитесь, что с точки зрения душевного равновесия, второе состояние прочнее и нерушимей, и слава Богу! Нет, вы направьте свой прожектор на невольных бездельников, бережно пронесших на чужбину свою интеллигентность, которая за отсутствием здесь привычного материала для переработки, соскакивает со шкива и вращается на холостом ходу, а внимание развлекается скучными пустяками обихода. Либо пустяки эти полегоньку и потихоньку завладевают вами, либо, как утопающий, вы боретесь, но тщетно пытаетесь, как сказал великий эксгибиционист Розанов, выбросить из души мелочную лавочку. Грош цена и минута времени мелочам таким, а есть, сидят, и не умеешь не допустить их в душу. А куда эта бесплодная борьба заводит — неужели не знаете? Все назойливей она подталкивает к единственному выходу, и с каждым днем становится ясней, что сопротивление бессмысленно, что поэтому глупо откладывать на завтра. Где уж нам до Прометея, и укусы клопа могут с ума свести, если вы ему обречены и против него беззащитны. Оставьте же в покое шоферов, пусть себе тянут лямку, в поте лица, как заповедано, добывают хлеб свой. И ведь независимо от всяких потрясений и революций, так именно и живут миллионы, десятки и сотни миллионов.

— А себя вы ставите над миллионами, вы призваны ими руководить и не можете примириться, оставшись в стороне?

— Совсем напротив. Я считаю безделье, в нынешних условиях, душевной привилегией и на всяких руководителей, больших и малых, смотрю как на отбывающих барщину, в том состоящую, чтобы затемнять и укрывать истинный смысл вокруг нас происходящего и отражать всякие попытки вскрыть значение коренной перемены.

— Как же вы не отдаете себе отчета, что вас сосет вампир гордыни: если идет не по-моему, возвращаю билет на вход обратно. А вы от гордыни отрекитесь и, вместо того чтобы стоять в стороне и презрительно смотреть, как миллионы тянут лямку, впрягитесь-ка и вы в нее и едва ли успеете заметить, как исчезнут все дурацкие бредни о возвращении билета.

— О, вы уж и испугались и не знаете, что отвечать. Мы ведь с того и начали, что меня к лямке не подпускают. Как я к этому отношусь, вопрос производный. Но вы не волнуйтесь — билет останется при мне. Как вечный студент — помните наше университетское время — с сосредоточенным выражением лица и непреоборимой ленцой в душе, так и я: на экзамен пойти не решусь, и с каждым днем положение вечного студента будет становиться все привычней, т.е. законней, нормальней, войдет в распорядок дня, займет в нем свое местечко и будет отлично сочетаться со всеми прочими его ингредиентами.

Я действительно испугался, испугался этого мучительного сознания душевного бессилия найти выход, у меня перехватило в горле. Он, очевидно, заметил мое смущение и с раздражением сказал:

— Вот как вы всполошились. При такой экспансивности нельзя вести с вами разговоров на высокие или, если хотите, на глубокие темы. Для наглядности я изобразил вам данное душевное состояние в первом лице, а вы уж поспешили меня в кандидаты на безвозвратного перебежчика определить. И рад бы в рай, да грехи не пускают.

Так вот мы с ним и сосуществуем, не возвращаясь больше к глубоким темам. Какие меткие слова я прочел в дневнике Жорж Занд: "Страдающий человек является мукой для окружающих. Он наводит на них тоску и раздражает. Точно труп, который вдруг попадется на прогулке и от которого все в ужасе разбегаются. Быть несчастным — значит иметь против себя врагами весь свет, ибо все желают жить в собственное удовольствие. Кто этого не понимает, тот воровски урывает от чужого эгоизма, и он не что иное, как нищий бродяга". Другое дело, если такой бродяга решится пойти на экзамен и, выдержав его, перестанет давить своим присутствием. За такое облегчение мы охотно готовы вознаградить. Например, в Гельсингфорсе покончил с собой полковник Бунякин. В его комнате найден был дневник "кошмарный по своей безысходности". Самоубийство вызвало не только горячие словесные симпатии, но побудило собрать денежный фонд имени покойного для помощи "старикам и юношеству, стремящемуся закончить свое образование" — посмертное подтверждение, что смерть была мало сказать единственным, но и весьма благодетельным выходом.

В этой (по эмигрантским масштабам, безбрежной) области бытовых метаморфоз литература могла бы найти немало разнообразных , по существу, вечно животрепещущих тем.

ПОЕЗДКА В ПАРИЖ

И вот, наконец, Париж. Один видный петербургский адвокат говаривал, что, обремененный практической утомительной работой, он утешается надеждой обеспечить себе накопленными средствами сладкое безделье, на склоне лет, в обожаемом Париже. Так оно и случилось, с той лишь разницей, что очутился он здесь... бесприютным беженцем.

Со времени первого посещения Парижа в 1909 году я тоже весь поддался чарам этого волшебного города, но таких мечтаний у меня не было, просто потому, что работа была как бы стихией, и на отдыхе я чувствовал себя неприкаянно праздношатающимся. Теперь же вообще никуда не тянуло — смерть жены, закрытие "Руля", агония "Слова" создавали настроение полного безразличия. Мучительным уже было напряжение, вызванное переездом на другую, более скромную квартиру и продажей с аукциона большей части обстановки. А ликвидировать все, отречься от всех, наслоенных шестнадцатилетним пребыванием в Берлине привычек, начинать сначала в новых условиях, среди других

людей, — такой перспективы воля, несомненно ослабевшая, освоить не могла. К тому же здесь случайная работа — нет, нет — и наклеивалась, а в Париже никаких видов на заработок не вырисовывалось.

Между тем состояние Германии становилось все более неустойчивым и вселяло серьезную тревогу. На невольном досуге я прочел ряд немецких новейших романов и был поражен изображением в них распада и разложения, не пощадившего ни одного уголка социального уклада. Беспрестанно следовавшие один за другим судебные процессы об убийствах и самоубийствах по договору, на почве патологических любовных и семейных отношений, состязались в сенсационности с делами о взяточничестве и лихоимстве чиновников, о грабительских финансовых комбинациях крупных банковских и промышленных деятелей. Сюда присоединялось салонное большевизанство видных писателей, смело, на основании двух-трехнедельного пребывания в Москве прославлявших построение "нового мира" и тем внушавших убеждение в обреченности существующего строя, давно утратившего веру в себя. Кипучей деятельности советского режима противопоставлялось бессилие рейхстага, и действительно, избираемый на основе рафинированной избирательной системы, рейхстаг становился все более неработоспособным, парализуемым непримиримым раздором многочисленных политических партий и группировок, и все чаще приходилось прибегать к роспуску парламента. Раздор перебрасывался в широкие массы населения, повторные выборы наносили все более сокрушительные удары умеренным партиям, усиливая крайние течения, набухавшие, как разлив в половодье. В борьбе же между крайни-

ми течениями перевес все явственней склонялся на сторону национал-социализма, удачно усилившего коммунистический диапазон болезненно чувствительной струной национальной гордости, униженной Версалем, и горькой насмешкой звучало теперь феллерслебенское "Deutschland, Deutschland ueber Alles".

Подобно тому как русские Морозовы финансировали революционный натиск на царский режим, Гитлера щедро поддерживали германские промышленные тузы, и возраставшие успехи национал-социалистов не могли оставлять сомнений в их окончательной победе.

Да, заднему уму это представляется теперь ясным и бесспорным, но со стыдом должен признаться, что до последнего момента не верил в торжество Гитлера. А впрочем, разве, напротив, не стыдно было бы, поставив всю жизнь на карту демократии, отказаться от уверенности, что успехи смертельного врага заставят ликвидировать внутренний раздор и тесно против него сплотиться. Формально уверенность нашла оправдание в быстро слаженной организации "Железного фронта" — его стройные демонстрации производили внушительное впечатление — мы еще поборемся! — участились партийные выступления — по улицам Берлина бодро маршировали с задорными молодыми лицами коммунисты и заметно отяжеленные возрастом и восхождением на командные высоты веймарской конституции социал-демократы.

Но может быть, именно гипертрофия дисциплинированности, противодействующей сознанию личной ответственности и инициативы, сыграла на руку Гитлеру: Суворов настаивал, что каждый солдат должен иметь свой маневр. Здесь же рядовые члены спокойно предавались житейским заботам, полага-

ясь на главарей, которые в нужный момент кликнут клич к борьбе, а главари — в бурный послевоенный период для этого оказалось достаточно и 15 лет — успели превратиться в "бонз" (как их презрительно величали в собственной среде), упоенных переходом от угнетаемой оппозиции к окуриваемой ладаном власти.

Безвкусием лубочного подражания запомнились помещаемые в газетах иллюстрации домашней жизни бессменного, подчеркнуто корректного, маленького председателя рейхстага Лебе: одна из них изображала его склонившимся над сыном, перед которым стоял большой глобус. Точь в точь, как пушкинский Борис с царевичем — недоставало только подписи: "Учись, мой сын, ты царствовать по праву будешь!"

В противоположность "отсталому некультурному" и т.д. народу русскому, бесчисленными трупами преграждавшему большевикам путь к господству, высококультурный германский народ предоставил противнику бескрылую победу — еще более легкую, чем сами социалисты, пятнадцать лет назад, одержали над монархическим режимом. В первые же месяцы 1933 года, на съезде естествоиспытателей, в одной из зал берлинского университета, оробевшие профессора наперерыв один перед другим из кожи лезли вон, силясь убедить, что представляемая ими отрасль науки крайне необходима новому прекрасному строю. А в предисловии к увесистой, свыше 1000 страниц, юридической энциклопедии, пронизанной той же тенденцией, ученый с европейским именем, профессор Шмидт, очевидно, не уверенный, что оглушающим нагромождением авторитетных цитат удалось утвердить

право Германии на сохранение титула "правового государства", торжественно провозгласил, что это и не важно, что неопределенный термин "правовое государство" должен посторониться перед новым юридическим понятием: "государство Адольфа Гитлера".

А может быть, на отсутствие сопротивления повлиял и успех российского прецедента, убедивший в бесцельности пролития человеческой крови. А может быть, и то, что гипертрофированная организованность содействовала расцвету стадности, превратившей организованность в самоцель и таким образом демократия сама унавозила почву для вождизма.

"Так было, так будет", т.е. торжество стадности и венчающего ее вождизма есть, по-моему, лишь очередной этап в извечной, фатальной борьбе, с переменным успехом, между человеком и человечеством, индивидуализмом и коллективизмом, персонализмом и трансперсонализмом. Чем шире распространяется торжество тоталитарного режима, тем все чаще слышатся голоса, что между фашизмом в разных его проявлениях, и большевизмом нет разницы, что они родные братья. Но мне кажется, что этот несомненно правильный взгляд скользит по чисто внешним, многочисленным признакам сходства и явного подражания Москве, не отдавая себе отчета, что во внутреннем существе своем фашизм и большевизм не ограничиваются сходством, а представляют полное тождество, нисколько не колеблемое разнообразием вариантов, зависящим от культурных, географических и других особенностей. Сущность — поглощение личности коллективом — остается неизменной.

Возвращаясь к пенатам, надо сказать, что на беженскую колонию, сильно уже поредевшую, но все еще насчитывающую тысячи, победа национал-социализма пала благодатной росой, вызвавшей к жизни новые ростки. Действие оказалось тем более живительным, что национал-социализм решительно противопоставил себя (сгоряча, вероятно, искренно) коммунизму, яко своя своих не познаша. Ну, а позже по прецеденту самих коммунистов, третировавших братскую партию социалистов, как злейших и опаснейших врагов. Если же провозглашается война с коминтерном, то кому же, как не нам, правой части эмиграции, и книги в руки.

Но поначалу неизбежно судорожная длань национал-социализма обрушилась и на без лести преданных. Так, на полицейском автомобиле повлекли на допрос профессора И.А.Ильина, сочинителя пышного адреса Гитлеру, возлагавшего на него сокрушение не только коммунизма, но и Мамоны. Такая же неприятность постигла и представителя царя Кирилла — Фабрициуса. Но совсем тяжелый удар обрушился на личного друга Гитлера, соратника с первых выступлений, генерала Бискупского, который был заключен в тюрьму и месяца два просидел под обвинением в заговоре на жизнь вождя. Впоследствии Бискупский был назначен Гитлером комиссаром над русскими беженцами и взял себе в помощники упомянутого Фабрициуса.

Такая превратность судьбы легко объяснима ярким полыханием доносительства, раздутым новым режимом: естественно, что доносчики в первую голову бросились искать среди званых, из которых будут вербоваться избранные. А так как найти пушок на рыльце в своей, хорошо друг другу знакомой среде, было нетрудно, то доносы

не были совсем без оснований и производили чаемое действие. Поэтому эрзацные вожди и фавориты мелькали тем еще быстрее, что на непривычной высоте ими овладевало головокружение.

Хорошо известный московским литературным кругам С.А.Соколов-Кречетов, ныне уже покойный, сразу проявил себя апологетом нового режима. На вечере в честь И.А.Бунина не давал покоя, умоляя предоставить ему, вне объявленной программы, слово "на две-три минуты". Надо было уступить, ввиду его давних приятельских отношений к Бунину, и, к общему смущению, он употребил эти минуты на произнесение дифирамба Гитлеру. Несмотря на такое усердие, ему пришлось тайком бежать из Германии, ибо доносы изобличили его в принадлежности к массонству.

Мыльными пузырями лопались самые многообещающие проявления услужливости: одно название газетки "Жидоед" должно было гарантировать успех и признание, а она бесследно исчезла после двух-трех номеров. А когда засим было создано "Новое Слово", на пост редактора удалось найти лишь бывшего владельца ресторана, прибегнувшего после неудачи на этом поприще к мелкому репортажу и тщетно старавшегося ввести в заблуждение публику усвоением внешнего облика "Руля". Не ошибусь, сказав, что ни один заправский литератор не предоставил своего имени этому бездарному листку — все это были подстать редактору, плавающие и путешествующие в поисках заработка.

А как пышно и шумно выступил на сцену РОНД, обрядившийся поначалу в мундир, напоминавший одежду СС. Как уверенно барабан сопровождал уличные шествия и упражнения на площа-

дях, как горяча была отзывчивость на клич к борьбе с большевиками. Но и тут чрезмерное усердие породило трения, дрязги, принявшие такие размеры, что организация была ликвидирована, и лишь ''избранным'' удалось включиться в германские отряды.

Не знаю, чему приписать, что на меня доносов не было, судя по тому, что личных неприятностей не случалось. Мелкий инцидент — больше комический — произошел благодаря ослабевшему слуху, на показе какого-то патриотического фильма, который захотелось посмотреть сыну, приехавшему из Варшавы. Зал кинематографа был полон, но энтузиазма при появлении кадров вождя курфюрстендамская публика не обнаружила. По окончании все встали и, вытянув вперед правую руку, пропели положенную песню, а когда затем стали расходиться, я почувствовал чужую руку на спине и, обернувшись, увидел типичного немца, что-то говорившего с приветливой улыбкой. Я не расслышал и сам улыбнулся в ответ, а сын пояснил:

— Ты, очевидно, не слышал, что он сказал: ''А ведь и вам следовало поднять руку''.

Еще более странно, что в отличие от других организаций (например, адвокатской, академической), которые сразу вынуждены были переизбрать правление по принципу ''поравнения'', Союзу литераторов такого требования не предъявлялось. Но за оскудением состава и утратой общественного интереса к нему, я давно уже ощущал председательствование как нудную повинность, теперь, в тисках гитлеровского режима, устройство литературных вечеров требовало преодоления сложных формальных препятствий, еще трудней было устраивать

благотворительные балы, да и бесплодней, потому что жертвователи вербовались преимущественно среди состоятельных евреев, а они-то, в первую очередь, и стали покидать Германию.

Но главное — невтерпеж стало принимать на себя ответственность за льстивые выступления Объединения беженских организаций, в которое входил Союз литераторов. Нельзя было поставить и вопрос о выходе из объединения: не говоря об угрозе личных неприятностей (пренебрежение к ним в чужом пиру отзывалось бы донкихотством), я не считал себя вправе привлекать внимание недреманного ока к оппозиционному выступлению Союза. Поэтому я подал в отставку, но принятие ее затягивалось под разными предлогами и с призывами к чувству гражданского долга: мол, под моим председательством Союз только и держится. Опасение было преувеличенным. Когда же я все-таки настоял на уходе, преемником моим на посту председателя Союза утвержден был профессор А.А.Боголепов.

Освобождения от неудобоносимой общественной повинности было недостаточно, чтобы оградиться от удручающей обстановки, заставлявшей вспомнить подлинно вещий афоризм Щедрина: ”Берлин ни для чего другого не нужен, как для смертоубийства”. С каждым днем атмосфера становилась томительней, все трудней было дышать, зараза все шире распространялась. Однажды я спросил доброго знакомого, курляндского барона, сын которого служил в армии, а сам он был членом правой организации ”Штальгельм”, как он оценивает прочность новых порядков.

— О чем вы спрашиваете? Разве не ясно, как может относиться к ним наша угнетаемая организа-

ция, а ведь она насчитывает миллионы членов. А что чувствуют преследуемые католики? А верующие протестанты как воспринимают гонения на религию? А уж что сказать об евреях — вы лучше меня знаете. Так о чем же вы спрашиваете?

Я встретился с ним несколько месяцев спустя и снова задал тот же вопрос.

— А знаете ли, — не без смущения ответил он, — этот режим стабилизировался, он сумел сделать много хорошего.

С большим мастерством раскрыл Сирин этот процесс перерождения психологии в рассказе ''Истребление тирана''. Как мучительно понятны эти строки всякому, жившему в Берлине: ''Как избавиться от него (диктатора). Я не могу больше. Все полно им, все, что я люблю, оплевано, все стало его подобием, его зеркалом, и в чертах уличных прохожих, в глазах моих бедных школьников, все яснее и безнадежнее проступает его облик''. Когда радио в течение двух часов передает речь его, ''получается впечатление, что он (этот голос) тебя сопровождает, обрушивается с крыши, пробирается на карачках у тебя между ног, и, снова взмыв, клюет в темя'', а когда это кончилось, ''я не только не испытал облегчения, а напротив, почувствовал тоску, страх, утрату; покамест он говорил, я, по крайней мере, караулил его, знал, где и что он делает, а теперь он опять растворился в воздухе, которым дышу, но в котором нет ощутимого средоточия''. А теперь говорят, что ''по ритму его сердца будут поставлены часы, т.е. в самом буквальном смысле его пульс будет взят за единицу времени''.

Если я допустил ошибку, не веря, вопреки очевидности, в победу Гитлера, то теперь тщетно боролся с овладевшим ощущением, что это тор-

жество не есть случайный мимолетный эпизод, а новый период истории. Один остроумец презрительно съязвил:

— Вы были уверены, что царство большевиков скоропреходяще, а оказалось наоборот, теперь вы утверждаете, что Гитлер прочен, значит — он быстро сойдет со сцены.

Но уже на первых порах стало ясно, что германский эксперимент представляет лишь новое обличье российского и что поэтому предсказывать его мимолетность — значит впадать в рецидив. При немецкой организованности и напористости, и при наличии проторенного пути, атмосфера будет еще быстрей сгущаться. И когда Гитлер стал топтать сапожищами Версальский договор, введя войска в демилитаризованную зону, восстановив всеобщую воинскую повинность, а затем демонстративно вышел из Лиги Наций, на горизонте вновь начал вырисовываться призрак войны, еще сильней взбудораживший тревогу и опасения.

Следовало покинуть Германию. Но, повторяю, преодоление инерции бесцельного существования наталкивалось на такие душевные препоны, перспектива свивания гнезда в новой обстановке так пугала, правильней сказать — так отвращала, что простой выход из положения как-то незаметно, как бы крадучись, превращался в гамлетовскую дилемму — быть или не быть? Что благородней? И с тех пор второй член дилеммы стал лейтмотивом, нет — собственной тенью, то неуловимой, раздражающе бледной, то зловеще черной, в зависимости от световой силы рефлектора мировой смуты вообще, беженской в частности, и личной — в особенности.

Нет, брат, ответ далеко не так прост, и твое дело вовсе не сторона, и уж какие тут мемуары, когда

действительность бьет, как обухом, по твоей голове. Вот ты уж в Париже, мерно постукивает пишущая машинка. Но сегодня в Берлине Гитлер произносит речь на национал-социалистическом конгрессе, а здесь, в Париже, рвется из открытых окон передаваемый радио сиплый звериный рык угроз и брани, аккомпанируемый, в нарочито устраиваемых паузах, бешеным ревом человеческих существ, слившихся, как миксомицеты в пласмодий. (Это у Мечникова я прочел, что миксомицеты недолго ведут самостоятельное существование: соприкасаясь друг с другом, их тела сливаются в студенистую массу, достигающую нередко больших размеров).

И всего страшней было, что наглые угрозы и грубые оскорбления вытекали из домогательств, которые накануне, в столь острый момент, газета бывшего премьера Блюма признавала не совсем безосновательными, что язвительные упреки по адресу демократии в измене ее лозунгам (самоопределение народностей) били не в бровь, а в глаз, что Гитлер ссылался на противодействие этим небезосновательным домогательствам Германии в течение пятнадцати лет (после Версальского договора), когда и в Германии торжествовала демократическая республика. В свое время ”Руль” настойчиво обращал внимание на опасность такой политики, а французский консул в Берлине отказал сыну в разрешении на въезд во Францию в отместку, как он заявил, ” за враждебные статьи ”Руля”.

Не сразу я переселился в Париж, а сначала отправился на разведку, и встреча, выпавшая на мою долю, способна была рассеять все сомнения и опасения. После 25-летнего перерыва я Парижа не

узнал бы, даже если бы он не изменился так сильно в послевоенные годы. Не узнал бы просто потому, что теперь я не взирал с туристического "дуазо", не интересовался красотами чудесного города, да и поселился не в центре, в гостинице, а у сына, в одном из вновь выстроенных огромных домов (куда более изящных с фасада, чем в Берлине, а внутри куда менее удобных), на границе Булони, где к десяти часам вечера жизнь замирает и на улицах редко уже встретишь прохожего — совсем провинция!

На приезжего берлинца, придавленного окружающей угрюмостью и вымуштрованного держать язык за зубами, двигаться с оглядкой, — беззаботная жизнерадостность парижского лица, с которого не сходит приветливая улыбка, производит животворящее впечатление, расправляет смятое сознание своей индивидуальности и независимости. Правда, когда это сознание укрепится, начинаешь замечать и обратную сторону: здесь никому ни до кого никакого дела нет — бешено мчатся бесконечной чредой автомобили, ни разу не случалось пройти по улице, чтобы не увидеть стремительно бегущих людей — все заняты, все куда-то торопятся, каждому некогда, и эта неумолчная суета вызывает чувство одиночества.

Но на первых порах, и тем более если приехал только на побывку, эта оживленность, непринужденная вежливость, сверкающее остроумие действуют, как рюмка хорошего аперитива и заставляют забывать о невзгодах.

Мне случилось видеть игру в футбол в вагоне метро: все пассажиры охотно потеснились к сторонам, очистив середину для веселой группы молодых людей, по внешнему виду рабочих, и подбадривали

взлеты мяча восклицаниями... На Елисейских Полях при переходе через улицу знакомая моя, не поняв полицейского сигнала, попала в самую гущу автомобильного движения. Благополучно пробравшись между ловко управляемыми машинами, она в полуобморочном состоянии бросилась на стоящего среди улицы "ажана", который, покровительственно обняв ее, патетически воскликнул: "O, madam, mourron ensemble!" (О, мадам, умрем вместе!) и заставил сразу прийти в себя и рассмеяться.

Возбуждающе режет глаз хаотическое смешение стилей, какого-то "французского с нижегородским": рядом с великолепными зданиями угрюмые обветшалые хибарки, застенчиво умоляющие о сломе. На улицах изящные наряды последней моды перемежаются с фантастическими отребьями; роскошные автомобили обгоняют допотопные. Пройдешь ли в почтовое отделение, в банк, в префектуру, — везде поражает борьба косности, опутывающего все управление бюрократического формализма с благодушным житейским усмотрением: в одном банке беженцу отказываются уплатить по переводу 500 франков, потому что у него нет еще "карт д'идантитэ", а предваряющее ее "ресеписсэ" не служит удостоверением личности . В другом, не спрашивая удостоверения, выдают несколько тысяч франков, а когда расчувствовавшийся клиент рассказывает, как ему отказали в том банке, он слышит: "О, imbeciles ! Разве нельзя сразу определить по внешнему виду, что вы никаких сомнени не возбуждаете!"

На карт д'идантитэ отклеился фотографический снимок. Беженец является в префектуру, чтобы просить водворить его на место, но чиновник заявляет, что документ утратил силу, ибо он не может

знать, принадлежит ли удостоверение предъявителю, и что посему нужно возобновить ходатайство о выдаче карты. Проситель умоляет, указывая на необходимость срочного отъезда, но чиновник безмолвно аннулирует документ отпечатком надлежащего штемпеля. Не видя другого выхода, проситель через два часа вновь является в надежде переубедить строгое начальство, но застает уже другого чиновника в лице дамы. Только что он повторил свою просьбу, как она улыбнулась:

— Давайте, я приклею снимок!

Но увидев отпечаток аннулирующего штемпеля, воскликнула:

— А это что такое? — и выслушав объяснение, разразилась негодованием: — О, imbecile ! Он ставит штемпеля, а мне придется возиться с новым ходатайством!

И, в свою очередь аннулировав наложенный отпечаток, вручила одуревшему от сюрприза воскрешенный документ и прибавила с улыбкой:

— Счастливого пути и удачи в делах ваших!

Растроганный шипучим оживлением и приветливостью Парижа, я тем сильней отдался радушию, встреченному у старых приятелей и бывших соратников. До Парижа мне казалось, что определяющей чертой беженства является отсутствие быта, здесь же я увидел иное: это было если не государство в государстве, то во всяком случае местная автономия. Нельзя обойтись без сношений с префектурой, налоговым ведомством, мэрией, но можно воспитывать детей в русских гимназиях, университете, консерватории, лечиться у русских специалистов, в русских клиниках, обращаться за юридической помощью к русским адвокатам.

Среди более молодых многие проявили недюжинную энергию, чтобы вновь сдать экзамен на то же косное "башо", вновь пройти университетский курс и подготовительный стаж, чтобы стать полноправными. А те, кому это, по тем или иным причинам (главным образом, по неотложной нужде в заработке) не удалось, обходятся без французского диплома, работая под эгидой французских коллег, взимающих за содействие обходу закона треть получаемого их вассалами гонорара.

Среди не только первой, но и второй группы некоторым удалось хорошо и, что еще больше бросалось в глаза — прочно устроиться: квартиры имеют вид уютно обжитой, мебель не с бору по сосенке, а добротная, тщательно подобранная, часто старинная, заботливо любовно сохраняемая.

В Берлине, в моем окружении, не приходилось видеть такое благополучие, такую бытовую доверчивость к завтрашнему дню: здесь у одного лакей почтительно подает визитную карточку посетителя на серебряном подносе, у другого — русский повар готовит кулебяки и рассольник, напоминающий петербургского "Медведя" или московский "Славянский базар", третий ошеломит тающим во рту клубничным тортом — он тут, знаменитый кондитер Иванов с Театральной площади в Питере.

Свое временное парижское пребывание я заканчивал в минорных тонах. За двадцать с лишним лет жизни в Петербурге только один раз, до войны, мне случилось побывать в больнице. В Берлине я понакомился чуть ли не со всеми — один лучше другого устроенными госпиталями, и не по собственной надобности, а больше навещая томившихся там, после разных хирургических операций друзей

знакомых. И в Париже, даже за кратковременное пребывание, нельзя было обойтись без посещения русской клиники, в которой лежал оперированный бывшим русским профессором А.И.Гучков.

Посещение больного произвело незабываемое впечатление. А.И.Гучков "лежал... особенно тяжело... по-мертвецки", члены тела заметно уклонялись уже от повиновения, сосредоточенно умное лицо явственно выдавало гиппократовы черты.

Мое представление о смерти составилось всецело под влиянием Толстого, у которого я заимствовал приведенные в кавычках слова. Разные были люди — старый князь Болконский, сын его Андрей, Николай Левин, Иван Ильич, — умирали они в разных условиях от разных причин. Но все они воспринимали смерть, как таинство, как счастье. В какую-то неуловимую для окружающих минуту "это случалось", наступал "переворот", исчезал страх смерти, напротив, она становилась "исполнением желаний", открывала новый яркий свет.

Под этим влиянием, на освящении памятника на могиле задавленного трамваем Ю.И.Айхенвальда я говорил:

— На этом суровом камне начертаны замечательные слова нашего гениального поэта: бдения и сна приходит час определенный. Благословен и день забот, благословен и тьмы приход. Это были любимые слова покойного Ю.И.Айхенвальда. А для него слова были не мертвый звук, а живой символ, слово было для него священно, оттого-то он так скупо тратил их, и говорил всегда в приподнятом тоне, как проповедник. А вот эти слова отражают все его миросозерцание, в них звучит вся его душевная настроенность, его душевный лад. Поэтому мы должны бы покорно склониться перед прежде-

временным приходом тьмы... Но нельзя примириться с тем, что смерть подстерегла его так коварно, хотя он ее не боялся и смело смотрел ей в глаза. Как будто она стремилась лишить его возможности сказать нам последнее, самое значительное слово, которое вспыхивает, когда дух отрешается от тела...

А.И.Гучков бреттерски дразнил смерть: добровольцем отправился к бурам во время войны их с Англией, неоднократно дрался на дуэли. Это не было презрение к смерти: сам он признавался мне, что не без страха стоял у барьера, и не легко давалось ему преодоление этого чувства.

Однажды — это было в Петербурге — кажется, когда он был председателем Государственной Думы — смерть уже заключала его в костлявые свои объятия, в редакциях газет были уже заготовлены некрологи. Теперь смерть не подстерегала его, а просто вступила в бой, и победа ее не оставляла ни малейшего сомнения. Мне казалось, что он-то должен весьма остро ощущать "переворот", и я испытывал смущение: о чем буду говорить с ним, если он видит все в новом свете, если теперь ему непреложно ясно, что "мы не можем понимать друг друга".

Но вышло совсем иначе, совсем так, как бывало при его приездах в Берлин, когда он с места в карьер направлял беседу на борьбу с большевиками.

Простившись с больным, я увидел в приемной с десяток посетителей, ждавших очереди, чтобы поодиночке быть впущенными в палату. Повидимому, Гучков не только не испытывал отмечаемой Толстым отчужденности от людей, но нуждался в них, чтобы не оставаться с глазу на глаз со сторожившей

его смертью, которую он так вызывающе дразнил, и теперь, бессильный, мучился ее бессердечной отместкой.

Только что я вернулся в Берлин, как настигло сообщение о смерти Александра Ивановича, а год спустя, уже переселившись в Париж, я был в церкви на панихиде по нем в обществе не более шести-семи лиц, в том числе трех близких родных. Пока он был жив, посещение его могло служить аттестатом близости к выдающемуся политическому деятелю, — а отдать долг памяти его — это уже скучная повинность, не возмещаемая никаким личным интересом.

Не удержала память отца и единственную его дочь от перехода к большевикам и прикосновенности к шайке наемных убийц ГПУ.

Накануне возвращения в Берлин удалось еще побывать на литературном вечере, где Сирин читал отрывок из тогда еще не напечатанного романа "Дар" и чудесный рассказ "Оповещение". Впечатление усиливалось мастерским чтением, не выпускавшим слушателя из взволнованного напряжения, несмотря на отталкивание, внушаемое большинству слушателей его творческими дерзаниями. Оно и понятно, потому что в новаторстве чувствуется высокомерие, неуважение (у Сирина так и было в немалой степени) к установившимся вкусам и интересам публики. А в ком из нас не сидит нечто от Омара, обрекшего александрийскую библиотеку на сожжение, ибо она либо лишняя, либо вредная, если содержит то, чего нет в Коране. С этой точки зрения понятно, что наиболее непримиримой должна быть своя же братия, писатели и критики — как наиболее увязшие в доминирующей толпе. Таково и было, например, отношение к Му-

соргскому со стороны "могучей кучки", даром, что она считала себя смелым реформатором, и гениальность его была угадана прежде всего менее связанными в своих оценках профанами.

Эти литературные вечера больше похожи на клубные заседания, чем на публичное собрание, потому что большинство публики между собой знакомо, и в антрактах царит оживленная интимная атмосфера. Устраиваются эти вечера в неуютном зале Социального Музея редакцией журнала "Современные записки" — точнее И.И.Бунаковым, которого, по всей справедливости, можно назвать nervus rerum парижской эмиграции.

(Из многочисленных и разнообразных активных выступлений совеской власти против беженцев наиболее целесоответственным надо признать таинственный умысел против Бунакова, пресеченный обнаружением тайного телефонного провода, дававшего возможность подслушивать разговоры в его квартире. Если в этом видеть подготовку к парализованию деятельности Бунакова, то удача такого замысла причинила бы парижской эмиграции, да и не только парижской, непоправимый вред: его энергичная неутомимая работа всячески напоминает, что не единым хлебом жив человек).

При входе в зал прежде всего видишь его сидящим за столом, на котором разложены для продажи "Современные записки", "Новый Град", "Новая Россия", альманах "Круг", внушительные томы работ ученых-беженцев. Все это создано его организаторскими талантами, ему обязан существованием русский театр, он побуждает зарубежных писателей сочинять для театра новые пьесы, выпускает труды зарубежных ученых, которые без него не увидели бы света. С каждым годом, с каждым

месяцем положение эмиграции все ухудшалось, ввиду обострения конъюнктуры, и в зависимости от этого трудности издательства книг все росли. В конце концов пришлось отказаться от устройства литературных вечеров, дававших десяток-другой тысяч франков для поддержки скудных средств издательства ''Современных записок''. Но трудности питали энергию Бунакова и его изобретательность.

В былые годы он и сам проявлялся писателем, задумав большую историко-публицистическую работу ''Пути России'', части которой из месяца в месяц печатались в журнале, но до конца еще не доведены. Он объяснял мне:

— Писателей есть сколько угодно, а на добывание средств охотников нет. Так пусть другие пишут, а я позабочусь о том, чего другие не могут или не хотят делать.

И Фундаминский делает это самозабвенно, любовно, всегда бодро и весело, и, что особенно редко встречается, интерес общественный, любовь к дальнему дружно уживается с вниманием к ближнему, и все прибегают к нему в уверенности, что не уйдут без совета, без помощи, и никогда в этой уверенности не обманываются.

Рядом с оживленным, импульсивным Бунаковым на вечерах этих неизменно маячила высокая складная фигура близкого друга его, В.М.Зензинова. Всегда спокойный, сосредоточенно серьезный, со скупой тихой речью, с пробивающейся будто через силу улыбкой, — под этой внешностью он скрывал проникновенную мягкость и искреннюю доброту. И как трудно было сочетать с этими двумя друзьями, ревнителями ''малых дел'' представление о политическом терроре, активными деятеля-

ми которого они долгие годы состояли. Какими душевными силами нужно было обладать, чтобы при такой природной нежности и мягкости заставлять руку, во имя так называемого общественного долга, стрелять и метать бомбы...

И еще одно трогательное впечатление, связанное с этими вечерами, всплывает в памяти: на улице перед входом в зал, какова бы ни была погода, а обычно она в Париже зимой дождливая — неизменно стоял в настороженной позе немолодой человек в тючком в руках. Вряд ли ему отказали, если бы он захотел примоститься в обширном вестибюле, но, вероятно, он считал бестактным просить об этом, потому что задача у него была совсем иная, чем у устроителей вечеров. Каждому входящему он протягивал тощую печатную брошюрку, никогда при этом не произносил ни слова — конспиративно молчал. Но взгляд его бы так ободряюще убедителен, жест протянутый руки столь уверен, точно полным голосом он говорил: вы только возьмите и прочтите, тогда все вам откроется!

Брошюрки были периодическим изданием для бесплатной раздачи и ставили себе целью напомнить и указать запутавшимся в тенетах суеты пути к Богу.

Приближался день отъезда. Повелительность диктовалась истечением срока визы, а всякое нарушение правил въезда и выезда из страны грозило неприятными осложнениями, дававшими обильный материал для анекдотических приключений.

Года два назад я был приглашен А.В.Ледницким в Варшаву для публичного доклада. Остановился я не в гостинице, а у знакомых, и точно так

же законопослушно в назначенный срок возвращался восвояси. На границе таможенный чиновник остался недоволен осмотром моего паспорта и требовал, чтобы я вышел, захватив с собой багаж свой. Не понимая польского языка, я упрямился. Он вызвал начальство, от которого я узнал, что допустил нарушение, не прописавшись в полицейском участке (по обычаю старого доброго времени в России), и должен вернуться в Варшаву. Тщетны были указания на явное противоречие между распоряжением министерства иностранных дел, предоставившим пребывание в Польше не позже сегодняшнего дня, и требованием вернуться в Варшаву, но помогли врученные мне друзьями польские и эмигрантские газеты, в которых была помещена моя фотография и отчет о докладе. Напутствуя увещеванием впредь не грешить, начальство смилостивилось, а пассажиры получили неисчерпаемую тему для оживленной беседы об аналогичных случаях, неизменно начинавшихся словами: "Это еще что! Вы послушайте, что со мной случилось!", а вместе с тем благодарили за то, что повышенный интерес ко мне уравновесился поверхностным осмотром паспортов и багажа спутников моих.

Совсем веселое оживление сопровождало и переезд через франко-германскую границу. Чиновник свирепо обрушился на меня, хотя тогда во Франции еще не требовалась прописка, она была установлена года два спустя, включенная одним из первых пунктов в предложенную министерством Даладье программу. Но, запутавшись в календаре, чиновник считал, что я должен был покинуть пределы Франции днем раньше, а когда наконец дал возможность вставить слово, чтобы разъяснить его ошибку, развел руками и, милостиво улыбаясь,

сказал: — Ça arrive!.. Сколько раз случалось потом слышать это выражение: и в префектуре, когда после многочасового ожидания оказывалось, что запропастилось "досье" ваше, и в почтовых учреждениях при неправильном исчислении тарифа и т.п.

Развлечение, доставленное рассеянным чиновником, сразу забылось, как только поезд застучал по германским рельсам. Сразу установилось тяжеловесное молчание, отпечатавшееся томительной угрюмостью на лицах пассажиров, среди коих было и несколько русских беженцев, равно как и по дороге в Париж соседями в купе оказались знакомые москвичи, и невольно думалось, что и тут эрзац: один из перебежчиков рассказывал, что вся Россия находится в движении в поисках счастья. Так же мыкаются и беженцы, не находя места, где бы можно было почувствовать себя не на перегоне и разложить чемоданы...

На пути в Париж мои москвичи держались так, точно мы впервые друг друга увидели, и язык развязался лишь после того, как на одной из станций наше купе покинул высокий, благообразный седой немец, упорно тихим, ровным голосом вызывавший отмалчивавшихся спутников на беседу. Я улавливал лишь обрывки удивлявших меня фраз, но когда он ушел, москвичи подтвердили, что он все вовращался к новому режиму, к которому относился весьма одобрительно, особенно ввиду объединения Германии и восстановления внешнего престижа ее, но отказывался понимать и скорбел о враждебном отношении к религии. Мои соседи спешно усмотрели в его откровенности "провокацию", но мне кажется, проще было бы видеть здесь лишнее подтверждение поговорки: что у кого болит, тот о том и говорит.

Гнетущие мысли не оставляли меня на обратном пути в Берлин. Бывало, в царское время, профильтрованный на русской границе жандармским контролем, пересядешь на иностранную железнодорожную колею, глубоко вздохнешь и ощутишь легкость, точно с плеч груз свалился. Теперь, пересекая германскую границу с запада, испытываешь ощущение будто прошедшие по вагонам чиновники Гестапо зацепили тебя крючком за живую шею и вот так ведут в участок, "а я плыву как лунатик, потому что от каждого лишнего движения чернеет в глазах".

Для меня ужас тоталитарного режима в том, что он рисуется ярким выражением новой эпохи, и мучительно сознавать, что, обильно орошенный кровью и усеянный миллионами трупов, путь к этому режиму в Европу проложен из моей родины, что таковым оказалось новое слово, тот свет, которого мессиане ждали с востока.

Но страшней всего сознавать, что, если такой диагноз и правилен, он поставлен тобой, представителем зажившегося на земле старого поколения: презрительно посмеется над тобой молодежь, если в качестве злорадной укоризны скажешь ей: tu l'as voulu. — "Да, именно, именно этого мы и жаждали и счастливы, что своего достигли!" — будет ответ...

Сколько бы ни уговаривать себя, что выше головы не прыгнешь, что вольному воля и т.д. — душа не хочет мириться с этим и бурно протестует.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ACHEVÉ D'IMPRIMER
EN NOVEMBRE 1979
PAR JOSEPH FLOCH
MAITRE-IMPRIMEUR
A MAYENNE

N° 6951